Ксения Степанычева

**Дни Победы**

*(Монологи о войне)*

 Посреди сцены стоит длинный деревянный стол с лавками. За ним – столб с репродуктором.

1. ТОНЯ

 Жена лейтенанта-лётчика, 20 лет[[1]](#footnote-2), одета в застиранное ситцевое платье некогда голубого цвета в мелкий белый цветочек; на плечи накинута голубая крепдешиновая косынка; на ногах – почти сношенные парусиновые тапочки; кладёт на стол полбуханки ржаного хлеба и нож.

Т о н я. Мы в январе сорок четвёртого как с Борей расписались, нам сразу же комнату дали в лётном городке. И вот мы с Людой там жили – а Боря мой тогда уже был инструктором в лётном училище, так что я его и не видела совсем. У них было несколько этих… аэродромов, где они с курсантами летали, и он был на самом дальнем, в степи, за этой... за Шумейкой – они там летали, и там же и жили. Их домой отпускали… ну вот Боря мой, как уехал в октябре, и вот только в конце декабря, когда аэродромы замело, их домой на две недели отпустили. А потом, как они уехали, так мы их и не видели… И вот где-то числа второго мая пошла я из лётного городка к маме. Доехать тогда не на чем было, ну и я пешком, с Людой семимесячной на руках, пошла к ней. Прихожу, а там уже по городу разговоры ходят, что, вроде того, собираются капитулировать немцы – кто-то, где-то, по радио что-то такое услышал. А тогда же приёмников ни у кого не было – у кого и были до войны, их все отобрали. Они же все зарегистрированные, вот прямо по списку приезжали, и забирали радиоприёмники. А это у кого-то там, видать, или из лётной… бортовой приёмник стащили… или уже первые трофейные стали появляться… Короче говоря, как раз у мамы я первый раз услышала, что вот-вот уже возможна капитуляция. Ну и значит, побыла я у неё несколько дней, потом вернулась к себе домой, в городок… Выхожу на улицу, а тут женщины тоже шепчутся: «Ой, неужели кончится война, неужели кончится…» А тогда мы как жили: варить нечего, стирать нечего, шить-вышивать тем более, электричества тоже не было… Ну, мы и ложились рано, и спали, пока спится. И вот уже под утро, часов в шесть, я сквозь сон слышу: «Бах-бах-бах!..» – в дверь кто-то колотит, дальше по коридору. Думаю: «Ну кто ж это так спит крепко, им стучат, а они не слышат?..» И тут опять слышу, уже с другой стороны: «Бах-бах-бах!..» И в третью дверь… Ну, я уже думаю – надо вставать, случилось чего?.. А тут и ко мне в дверь давай колотить. Я открываю, а это штурман наш, Рыхлицкий, его тогда как раз домой отпустили; мы с ними дружили очень. И он мне с порога орёт: «Ты, корова, чего спишь?!» А Люда моя тоже уже проснулась, стоит в кроватке… Он её сгрёб, кричит: «Капитуляция!.. Победа!.. А ты спишь!..» И тут я слышу с улицы «трах-тах-тах!» трещат кругом – офицеры наши, кто с чего, стреляют, салютуют… Он Люду схватил, завернул её в одеялко, говорит: «Выходи давай, там уже все на улицу вышли, а ты дрыхнешь!..» А я как встала, на мне рубашка такая была, отрезная, на лямках, ну, я морду сполоснула, халат накинула, и за ним… Выхожу – и вот первое, что я увидела… Стоят три женщины – Вера Прокопенко и Галя Диденко, две хохлушки, и с ними Валя Тихонова… хорошенькие такие, особенно Диденко, ну прямо как куколка!.. У неё дочка маленькая за подол держится, в Веру двое своих вцепились, и около Вали её сынок стоит… И вот они обнялись трое, и плачут: «Нам ждать некого… Наши с фронта не вернутся…» Ну, и я с ними… у меня же тоже – и Гриша, брат мой старший, погиб, и дядьёв четверо… погибло… А тут подруги мои бегут – Зоя, Маша, Нина… А Маша Петренко, она шустрая такая, уже в штаб сбегала, всё разузнала, прибежала и говорит: «Сказали – обязательно привезут наших с поля сегодня, у них уже радиосвязь была, и сказали, что точно – привезут». Ну, мы и задумались – чего делать-то, отмечать же надо… Зоя говорит: «У меня есть полбуханки хлеба, и маслом я намажу» – ну, в общем, бутерброды; это ей посылку прислали – тогда как раз посылки разрешили… Мария говорит: «Я к брату сейчас сбегаю», – а у неё тут брат жил, шофёром где-то работал. Ну, она от брата прибегает, приносит три солёных огурца, и леща… этого… вяленого. А у меня и нет ничего, вложить в общий стол. Ну, я пошла на базарчик тут, и купила тоже – полбуханки хлеба, и редиски пучок… А у Нины ещё с осени бутылка вишневой настойки стояла, сама делала – не знаю, где уж она и сахар-то раздобыла… В общем, собрали кое-чего, и разошлись – наших ждать. Я к себе поднялась, смотрю в окно – а у меня далеко-о-о в степь видать, и я смотрю: пылит. Машина едет, полуторка. Заезжает, и прямо перед нашими окнами остановилась. Ну, и спрыгивают они, наши-то… Молоденькие такие, весёлые – и победа, и домой отпустили, и им там ещё на поле спирта дали, по сто грамм… Ну и – бегом!.. Боря мой вприпрыжку домой побежал – а я стеснительная очень, я и не вышла к нему навстречу… А десятого мая они уже назад уехали, на поле – не ослабили им режим работы, потому что ещё с Японией воевать надо было, а там как раз лётчики нужны…

2. ГАННА

 24 года, одета в юбку, сшитую из армейского одеяла, заношенную и залатанную мужскую рубаху, босая; кладёт на стол несколько варёных картофелин.

Г а н н а *(с белорусским акцентом).* Были мы с мужем в городе, в Могилёве – на базар хотели, ну и по магазинам… Приходим, а на площади люди стоят – и по радио объявили войну. Это часов двенадцать дня было… воскресенье. Врасплох застали нас, конечно… никто и не ожидал. Ну, мы тут сразу назад, к себе, в Заболотье – это посёлок наш, рядом с Гор*а*нами. Я тогда в колхозе учётчиком работала – фураж принимала-выдавала, молоко принимала, трудодни начисляла… ну, учёт вела. И ещё я была секретарём комсомольской ячейки. А муж мой был заведующим начальной школой… Немцы к нам уж через неделю… да раньше пришли – они Могилёв окружили, он не сдавался, они Чаусы заняли и дальше пошли. Вот тут всё и завертелось…

 Первые немцы – они армейские были; а фронт-то, он дальше пошёл, они и ушли. А заместо их пришли другие немцы, которые в тылу остались. Они уже все эсэсовцы были. Вот это самые головорезы и есть, эсэсовцы, они-то людей и жгли, и расстреливали… А там, среди армейских немцев, даже были такие, которые в первую немецкую войну ещё, в четырнадцатом годе здесь были, и у нас в деревне стояли. Так они и по-русски хорошо говорили, и сёла все знали, и наших многих знали, расспрашивали про них, всё… Такие, в возрасте два немца – они в обозе были. А мы говорим: «А чё ж вы обратно пришли сюда?» – а они говорят: «А мы просто пришли… проведать». Вот и проведали… А муж мой, он на подпольную работу остался. Ну и я с ним – я связной была… Его в сентябре месяце немцы расстреляли – он в облаву попал, его и расстреляли. Семнадцатого сентября сорок первого года. А я беременная осталась…

 У нас в деревне немцы наездами были. Они жили на Десятом разъезде – там железная дорога, ну и посёлок. И ещё в П*а*шкове эсэсовцы стояли… А к нам они наездами были. За продуктами приезжали – приезжали, и забирали: всё, подчистую забирали!.. После них даже кота на улице не найдёшь, не то что – курицы… У людей запасы в погребах были, у матери вот картошки полный погреб был… дак, мы когда с леса вернулись, смотрим – всё под метлу забр*а*то, даже ни одной картошины не оставили. Бочки с капустой, с огурцами – всё забрали. Вот мы и голодовали… Ну и с облавами они всё время приезжали. Вот надо им молодёжь поймать, отправить в Германию, они окружат деревню, и выбирают – кого отправить. Но, у нас же партизаны везде работать затёсывались – и в Могилёве, и в гестапо, и в полицаях… ну, они и предупреждали, через связных. Дети ночью с Могилёва двенадцать кил*о*метров проходили, и нам говорили, что вот – завтра немцы будут облаву на молодёжь делать. И мы в лес уходили… мать оставалась, а я уходила. А некоторые: «Не, мы не пойдём, прятаться не будем…» – ну, немцы их в деревне застали, забрали и увезли. Часто они облавы делали – часто-часто… А мы в лес – да не в лес, а в болото. Оно большое такое, там торф резали… и мы туда уходили, там пережидали. Кругом леса немцев полно, кишмя кишат – а в болото они не идут, боятся. А мы вот до сих пор *(показывает: по пояс)* в воде сидим – осень, вода лед*я*ная… целый день так сидели, пережидали, потом возвращались. А зиму так почти всю в лесу жили: в деревню к матери заскочишь, кое-чего поесть схватишь, и назад. Одни старики в деревне оставались, а кто помоложе – все уходили… Спали все вместе, и не смотрели – это парень, или девушка, или женщина замужняя… спать-то надо. И вот, ёлка стоит, мы вокруг неё снег разгребём, на землю еловых лапок настелем, и, как есть, в одежде, кто в чём, кр*у*гом вместе ложимся: к стволу головой, а ноги – туда, на волю… Все, как одна семья. Встанешь, валенки к ногам примёрзнут, бегаешь-бегаешь по лесу, пока согреешься… а костёр разложить нельзя – сразу они нагрянут. Так и жили – почти всю зиму так прожили…

 А у нас в районе много, очень много евреев жило – дак, евреев они полностью собирали, вывозили, и расстреливали. Вот в Кн*я*жицах, в местечке, там очень много евреев было – дак, всех забрали. Они это местечко окружили, всех с дворов выгнали к церкви, там площадь перед ней… Евреям отдельно сказали стать, белорусам и русским – отдельно. И всех евреев в машины погрузили, и увезли. И всех расстреляли… В Пашкове, там военный городок был, и там противотанковые рвы вокруг него. И вот они всех евреев расстреляли, и в этот ров. Наши потом ходили туда – дак он полный был, их землёй только прикинули, и всё… и кровь наверху, с-под земли вышла... Очень много они народу поубивали… А то так делали: там, рядом с Пашковым, ещё до войны, лес заготовляли, и в кубометры его складывали. И вот они эти штабеля дров брали, накладут ряд, и поверх них людей ложут – или застреленных уже, или ранетых… и потом сверху ещё дров наложут, и ещё людей… ну, там штабеля-то большие… и потом бензином обливают, чтоб горели лучше – и всё, и сжигают…

 А парни наши, которые в сёлах остались – кто прятались от немцев, кто в партизаны уходили… кто как сумел. Партизан народ содержал – они… ну, как госпоставки накладывали на население, и те давали… А то – в немецкую зону ездили, и у немцев то лошадь возьмут, то корову, то ещё чего… Так и жили… И ещё самолёты прилетали в отряды в партизанские – они специально аэродромы на полянах делали: огонь разжигали – указывали, где садиться. Они только ночью прилетали – ну, там у них догов*о*рено всё было… И вот они тоже – продукты привозили, оружие привозили, взрывчатку… всё, что нужно. И с отрядов забирали – детей увозили, ранетых увозили… А партизаны, они и эшелоны подрывали немецкие, и самые рельсы – пойдут ночью, и сколько-то кил*о*метров рельсов как сметут, всё равно что. И засады на немцев делали, и связь телефонную рушили… Одним словом – вредили немцам, кто как мог. Вот они и лютовали потом… Партизаны-то, они в лесу, их не достанешь – так они сёла жгли, людей расстреливали… Окр*у*жат деревню, и всех расстреляют – а помогал, не помогал партизанам… это они не разбирали. И вот так в*о*т – кто в партизанах, а кто в полицаях… В полицаи добровольно мало кто шёл – в основном, западники… ну, которые с Западной Белоруссии, они ж под Польшей были, жили сами себе… вот они ненавидели советскую власть. Ну и кто по заданию партизан шёл в полицаи – тоже, добровольно шли. А так… придут, если мужик дома – собирайся и иди, служи… или – расстреляем. Насильно заставляли… Но, были кто и – сами хотели на немцев служить. Вот, который у нас начальником в полиции работал – его партизаны убили. Он и партизан, и связных, и которые на партизан работают, и семьи партизан – многих знал, находил, продавал… их забирали, увозили и расстреливали. Никак партизаны его убить не могли – сколько засад на него сделали, а всё никак… И они тогда родителей его убили, он поехал их хоронить, они засаду сделали, и тогда только убили его. И вот так – кто кого… Партизаны тоже, тех кто связь имели с немцами, тоже убивали – и тоже, семьями… В селе же все про всех знают – тех, кто с партизанами, ещё не так знали; а уж тех, кто немцам помогает… тех всех знали. Ну и вот – кто кого, убивали… одни с одной стороны, другие с другой…

 А я в апреле дочь родила, Ниночку – третьего апреля. На Пасху собиралася на всенощную идти – в Чистый четверг перестирала всё, и, думаю: «В субботу – уйду на всенощную…» А она-то – расходилася, и уже рожать мне… и в пятницу утром я её и родила. Мать дома была, и соседка пришла – в ступе пшеницу обтолкать, на крупу. «Сейчас помогу», – говорит. Пока она крупу обтолкала, я и родила… И сосед ещё пришёл, тоже *(усмехается)*… специалист – ну, он у жены своей роды принимал… Так-то – чё он там знает, как помочь… а он встал перед иконой, и Богу молился – особые молитвы, всякие там… и мне – так быстро!.. А что ж… Я одно говорю: не от нас это вышло, и не на нас это кончится. Как ни запрещали, а всё равно: в каждой хате иконы, на иконах полотенцы особые, угол особо отведённый... Верили – и в церковь ходили, и детей крестили… хотя и наказывали – тех, которые в организациях работали… и всё равно – ходили. Это уж перед войной все церкви закрыли, разгромили… священников – кого забрали, которые поуезжали, попрятались… А как при немцах церкви снова пооткрывали, они все и явилися… Народ не убедишь – не вырубишь. А я, пока церкви ещё не закрыли, я в Барсуки, в соседнее село, в церковь десять кил*о*метров ходила – ещё когда в школе училась. *(Усмехается.)* На всенощную схожу, а наутро в школу идти – я и сплю на уроках… а учительница, Ольга Яковлевна, говорит *(с укоризной)*: «О-о – видно, кто в церковь ходил, видно!..» Ну и что? Хотелось – я и ходила…

 И вот, Гораны-то, я говорила – их с людьми в сорок третьем сожгли, в сентябре. Мы-то на посёлке жили, в Заболотье, а Гораны – ниже. И я как раз в тот день в Гораны пошла, лошадь просить – забороновать. Рожь мы посеяли, на зиму, и вот, надо было забороновать, а лошадей не было, немцы забрали у нас… Ну, я пошла к бабке, подругиной матери – посидели, поговорили… она мне обещала: «Завтра придёшь, возьмёшь лошадь». Потом ещё зашла среди деревни к бывшей соседке по хутору – тоже, поговорили… а она сидит – лук перебирает: мелочь в гляч*о*к[[2]](#footnote-3) ложит, а крупные – отдельно. Говорит: «Это вот, если останется, дак останется, в глячке – а это… не немцы возьмут, так партизанам отдадим…» Ну и всё, я и пошла… Дошла до конца – а там, на отшибе, жили брат двоюродный с семьёй; ну, я и к ним зашла. Жена его хотела со мной идти – зерно смолоть у нас на жерновах; а брат её не пустил. Побыла я у них минуту – и ушла. А немцы в то время уже окружали деревню, с другого конца – вот когда я выходила от них, с крайней хаты… И когда я подымалась уже к посёлку, танк меня обогнал. И они на краю посёлка стали, и не пускали никого... Ну, я домой пришла, давай Ниночку кормить… и мне сосед кричит: «Ганна!..» – я говорю: «Чего?» – «Ты была в Горан*а*х?» – «Была», – «А посмотри, там в дыму всё!..» А!.. Я как глянула – а Гораны горят… Они людей согнали во двор – старый такой, большой, круглый, с него не выйдешь никуда… там и сараи, там и амбары, там и хата… заперли их там, обложили всё соломой, и подожгли. А сперва-то они их постреляли – в кого попало, в кого не попало, кто живьём горел… А других – в баню, заперли, и тоже: обложили, и подожгли. А кто не поместился, тех прямо там пристреливали… Пастуха убили, прямо вот где он скотину пас – а всю скотину, коров, овец, погрузили на машины, и увезли. Часа два-три они в Горанах пробыли, не больше… а как уехали, мы туда пошли. Ну, чё… Одна женщина ранетая лежала – мы подошли к ней, сын её поднял, а она захрипела и умерла. А бабка, подругина мать, когда жечь начали, ветер дым сносил, к лесу, и она туда отползла, и по этому дыму ушла. Обгорело лицо, руки, всё… вот, как свиней опаливают… но, живая осталася. Мы её подобрали, брат её пришёл – он там, дальше жил… Подобрали, лечили… А в другом дворе брёвны лежали – дом хотели строить. И вот одна внучку свою туда запхала, подальше – там, между брёвнами место было… а сама осталась. Они гранату бросили, ей ноги оторвало, она и умерла – а внучка до утра просидела в брёвнах: мы ходили, искали, она не отзывалась… А утром мать её с Могилёва пришла – она в Могилёв ходила… начала её звать, она тогда только отозвалась… ну, её и вытащили – она была ранетая в ножку. Но, живая осталася – маленькая совсем: годика два, два с половиной… И ещё одна женщина спаслася, с дочкой – она как немцев увидала, из дома выскочила, и на огород. Зашла в картошку, а ботва у ней высокая… она спряталася, девочку в землю закопала – ну, в борозду положила, и землёй её присыпала… а сама в яму, и тоже – присыпалася… И обе живы осталися!.. Да, и ещё ребятишки остались, лет по восемь, по десять – они в лес ушли, за грибами… человек пятнадцать. Они назад когда шли, мы их не пустили – мы уже знали, следили, и не пускали никого. Ну и остались те, которые были в городе, или в другом селе… А одна женщина… она в город ходила, за солью – у ней трёх детей сожгли. Она осталась, а дети сгорели… Ну а так – больше никого… Деревню всю сожгли, все дома, ничего от деревни не осталося – пепелище, и трубы торчат от печей. И мы прямо там, во дворе, где их сожгли, братскую могилу сделали – там, которые беженцы, у них родных не было… ну и наши, которых узнать не смогли. Мы вот своих родственников – кого нашли, кого нет… Вот брата двоюродного нашли – туловище одно: ни лица, ни головы – всё сгорело… А узнали, что это брат двоюродный – у него подмышками клочки одежды нашли, и мы только по этой одежде его и узнали. А так… многие – ну, головешка: руки сгорели, ноги сгорели, голова сгорела… только вот туловище, самое сырое, что не горит, оно и осталося. Больше двух сотен людей сожгли… А за что? Их и не поймёшь… У них по плану было… они уже землю себе расчищали. У нас в районе… я и не скажу даже, сколько деревень сожгли. В*е*ндорож сожгли, Малиновку, Р*а*фалов, Песчанку, С*е*ньково… да много деревень. А нам… вот, не судьба, наверно – погибнуть. Мы ж до того на хуторах жили, а потом всех с хуторей сселяли, и – на общую, в Заболотье велели селиться. А мы просили, чтобы нам в Горанах построиться дали – у нас там и родня, и всё… но, председатель сельсовета не разрешил. Вот, не судьба, наверно – Господь уберёг, что не дали нам в Горанах построиться… А когда люди горят, там же жир, и копоть от него, и запах… о-ой!.. Вонь такая… человеческое ж мясо, оно… сильно пахнет, когда горит. Ни от чего такого большого запаха нету… Его сразу слышно – идёшь, дак запах этот… и не передать. Не дай Бог никому… не дай Бог…

 А всё равно – все ждали, что победа будет наша. Хоть и не знали ничего – что там, где, чего, как война идёт… Вот партизаны иногда скажут, что-нибудь передадут, тогда чего-то узнавали… Или листовки сбросят с самолёта – вот тогда мы ещё узнавали, по листовкам. Наши самолёты прилетали ночью, и сбрасывали… А если у кого листовку найдут – расстреляют; дак, если найдёшь, её прячешь… не знай куда, чтоб никто не видел. Или сразу – прочитал, и сжёг. А я-то сама тоже, связной работала… От кого я задания получала, Циркунов, он был учитель в Бр*а*кове – погиб, на засаду нарвался, его и застрелили. Вот он придёт ко мне, скажет – и я иду в соседнюю деревню, к бург*о*мистру, Актистову Яшке, и ему передаю. Его немцы бургомистром поставили, а он сам-то от партизан был, на партизан работал. Ну, а он дальше – и, вот так вот, ц*е*почкой передавали… Но, я не знала, кто, кому, от кого передаёт – я только их двоих знала. Ну и наших партизан, деревенских… А дальше – я уже не знала. Передавали – когда эшелон будет с Могилёва идти, где какую облаву немцы будут делать… А бургомистра – пр*о*дали его. Нашлись такие, что продали… в гестапо его забрали, и расстреляли. А он меня спас… На меня тоже донесли, что я связная, и что я кто в партизанах знаю, и семьи партизан… и меня на допрос повезли, на личную ставку – с тем, который заявление на меня написал. Бургомистр меня и повёз – он, и охранщик. Ну, привезли, допрос с меня сымают – а я и не признаюсь: ничего не знаю, никого, ничего… Один мне там по уху как дал, я и слетела… *(трёт левое ухо)* и вот, плохо слышу теперь на это ухо… А тот, с которым должна быть личная ставка, он и не пришёл – его партизаны уже убили. А Актистов, бургомистр, стал их уговаривать: «Да не знает она ничего, вы ж видите… нет, зря вы на человека, брехня это… Даже тот, который на неё заявление написал, не пришёл – а пришёл бы он, доказал, дело другое… а раз он набрехал, он и не пришёл…» Уговорил их, и увёз меня… а сам потом погиб. Весной сорок четвёртого его забрали, и расстреляли… Нашёлся подлец – продал его.

 Ну а я-то сразу после того допроса с дочкой к партизанам ушла. Я в отряде не была, а я просто… ну, в партизанскую зону ушла. Это под Минск ближе… там лес такой начинается – Беловежская пуща. Туда уходили все… и там, в лесу, много народу жило – в этих, в землянках. А я не могла в землянке жить – я даже в погреб спуститься не могу, у меня сразу с головой плохо, и всё. И Ниночка тоже – кричит, не может… Ну мы и жили с ней… на санях спали. Зимой уже… Я её в перину положу, подушками обложу… так и спим. Она ходила уже… а то и ходить перестала. И мы заболели – и я, и дочка… и мы потом ушли, и по сёлам жили. У чужих жили – родственники… родственники-то почти все сгорели… Там все были свои, тогда не считались – чужой, или не чужой… все свои.

 А в Могилёве была гадалка, белоруска – ну и правду говорила всем. И вот мне соседка её рассказывала – раз пришёл к ней немец, офицер, погадать: когда война кончится, чего будет и кто победит. И вот она выпускает двух петухов, белого и красного. «Вот, – говорит, – смотрите: который красный, это советские войска, а который белый – это ваши, немецкие. Вот, кто победит, того и победа будет…» Ну, эти петухи как связалися… белый петух и забил красного: тот уже лежит, только дрыгает – ну, всё уже, подыхает… а потом очнулся, и как дал этому, белому!.. Догнал его – и совсем добил… Немец пистолет вынул: «Ну и что, кто победит?» А она говорит: «Советские войска победят – вы ж сами видите, красный петух победил…» Ну, он взял, и застрелил её… А она ему правду сказала. Правду сказала – и сама на тот свет пошла…

 Нас летом… в июне сорок четвёртого года освободили. Немцы быстро отступали, никто и не видел… ночью они ушли. И тут с С*е*лища, с соседней деревни, прибегает один, и говорит: «Вечером идите к шоссейке – наши части будут идти, выходите смотреть…» Ну, мы всей деревней к шоссейке и побежали… к шоссейной дороге. Выходим – и прямо наши части идут… ну, как на параде… все в шеренгу, все красивые такие, хорошие… *(Вытирает глаза.)* И потом они в нашу деревню зашли. А мы квасу бочку сделали, большую – ну, пить же надо чего-то; и они выстроилися, и мы им по кружечке давали всем… а они в очередь, как всё равно за пивом стояли… Все радые такие – целуются, милуются… расспрашиваем…

 Ну и тогда наши мужики, кто был, все ушли – сразу же их всех в армию забрали. А партизаны, они организованно, полностью, всеми отрядами – влились в армию, и их по частям распределили. А женщины – которых домой отправили, а которые на фронт ушли… В партизанах ведь и женщин много было – женщине, ей легче-то пройти, на задание… Ну и дальше они пошли – на запад немцев погнали. А мы осталися, одни женщины… и надо было нам колхозы поднимать, восстанавливать. И за мной пришли, и назначили меня председателем сельсовета… Я ж до войны учётчиком была – вот, меня и назначили… и стала я работать. Землю обрабатывать надо – а как? Лошадей нет, ничего нет… И вот – восемь женщин впрягаются в плуг, одна за плугом стоит, командует – а эти тянут… Так и пахали, и засевали, и урожай собирали – всё на себе. Потом уж понемножку стали присылать – лошадей с Монголии прислали, диких… А так – ничего и не было. Вот нашли в лесу тюк с одеялами немецкими, и вот – юбку я себе сшила. Оденешь, и так хорошо – тёплая, шерстяная… И так и многие. А у нас, в нашем сельсовете, семь колхозов было *(загибает пальцы)*: «Искр*а* социализма», «Кирова», «Вторая пятилетка», «Пролетарий», «Первого мая», «Новая жизнь»… и «Луч пробуждения». Семь колхозов, и только один мужик – председатель, а то все женщины. Он уже в годах был – и то, ему повестка пришла с военкомата… да я его отстояла – в райисполком ходила, везде… упросила. Говорю: «Да вы что, оставьте мне хоть одного, а то даже и посоветоваться не с кем – все женщины; а мужик, он всё ж таки больше знает…» Отстояла. А у меня в сельсовете работников – фин*а*гент, заготскот, начальник почты, секретарь и я. И вот так и работали, и так вот и жили…

 А про победу мы как узнали – у нас же ни радио, ничего… И вот, девятого мая с Могилёва пришла посыльн*а*я, с райисполкома, и сказала, что, значит – победа, наши в Берлине, немцы капитулировали… и что надо митинг собрать, объявить. Ну, я по колхозам разослала, чтоб пришли; кто мог, пришёл – народ собрался… ну, я и объявила. А что там больно скажешь, в таком состоянии… Все плачут стоят – целуются, обнимаются, и плачут. Никто не смеялся, не радовался – никто… А кому на мужа извещение пришло, что погиб, так те только стоят и плачут… А праздновать и не с чем было... Не дай Бог никому. Не дай Бог…

3. ВАНЯ

 Школьник, 16 лет, одет в коротковатые тёмные штаны, узковатую застиранную светлую рубаху, подпоясанную ремнём; на груди – комсомольский значок; на ногах – самодельные кожаные сандалии; кладёт на стол небольшую дыню.

В а н я. А я Жукова видел. Маршала Победы. Нет, правда, видел!.. Ещё когда совсем пацаном был – в тридцать девятом году, летом. Мы тогда в Монголии служили – ну, то есть, отец служил, а мы с ним; и, вот когда японцы напали… ну, когда были бои на Халхин-Голе – я помню: лето, жара, иду я по нашему городку, и вижу – идут несколько командиров, и все с «ромбами». Тогда же погонов не было, их только в сорок третьем надели, а были «шпалы» и «ромбы». И у нас в городке самый старший был капитан – это одна «шпала». А тут идут – и все с «ромбами»… Ну, один «ромб» – это комбриг, командир бригады; два – это комдив, командир дивизии… А впереди всех идёт коренастый такой, крепкий… командир, и у него аж т р и ромба. Ну, то есть – комкор, командир корпуса. Ну, я стою, конечно, рот раскрыл – а он меня увидел, улыбнулся такой… ну и дальше они пошли. Я домой прибежал, так и так, говорю; а мне говорят: «Это Жуков приехал, японцев бить!» А мой отец с ним вообще – чай пил. Он тогда был воентехник второго ранга – ну, то есть, техник-лейтенант; и вот ему дали задание – провести колонну с боеприпасами прямо туда, на Халхин-Гол. И он провёл – через открытую степь, и ни одной машины не потерял, и успел!.. И его встретил сам Жуков – обнял, поцеловал, сказал: «Спасибо, Костя, ты вовремя!» – у них там уже все патроны и снаряды кончились; и пригласил его к себе в палатку вечером прийти, с ним вместе чаю попить. И вот мой отец потом, конечно, и с немцами воевал, ордена имел, медали, там, всё; полковником стал… Но он говорил, что за вот за всю мою службу самая главная для меня награда – это вот этот вот вечер с Жуковым…

 А я помню, как японцы напали – мы тогда с пацанами на речку купаться пошли, а над нами эти японские самолёты-разведчики летают. Ну, летают и летают, зенитки их гоняют, а мы смотрим, уж привыкли… Накупались, я домой вернулся, отец на обед пришёл, и мы обедать сели. И тут он говорит: «Что-то не то, схожу-ка я, посмотрю…» Вышел, и через несколько минут забегает, хватает свою винтовку с противогазом, и кричит: «Японцы налетели, бегите в укрытие!» Ну, мать Светку схватила, и мы побежали. Выскакиваю я на крыльцо – и вижу: всё небо в японских самолётах – и один наш летает среди них. Я-то конечно, тогда совсем мелкий был, дурачок, кино насмотрелся – «Если завтра война», и всё такое… матери говорю: «Не бойся, мам, он щас их всех перебьёт», – а она меня за руку волокёт… Они его, конечно, тут же сбили, он упал… и сразу бомбёжка началась… Мы в овощехранилище побежали, и мать с тётей Верой Карповой прямо плечами дверь высадили – не знаю даже, как это они… замок сорвали… ну и мы туда все спустились, и там первую бомбёжку пересидели… Там ведь всё было – землянки: и овощехранилище, и все склады, и штаб, и командиры с солдатами жили в землянках, и даже клуб, куда мы ходили кино смотреть, тоже был – землянка, только большая. На весь городок – один барак был, и мы там как раз жили, отцу как поощрение комнату выделили. Потом ещё было несколько налётов… а потом нас всех собрали, и ближе к нашей границе увезли, в пионерский лагерь, и там мы всё лето провели – а осенью вернулись, когда уже японцев победили… Ну а потом отца в Туркмению направили – там новую танковую дивизию формировали; и вот мы из Монголии туда на поезде поехали. И уже оттуда отец в июне сорок первого на фронт ушёл. За ним полуторка приехала, он в кабину сел, стекло опустил и мне говорит: «Ну, Ваня, ты теперь один мужчина в доме остаёшься, мать и сестру береги…» Ну и, всё такое… *(Резко вытирает глаза рукавом.)*

 В войну самое плохое, что… есть охота всё время. Ну, голодно, потому что… Хотя, в школе на большой перемене нам каждый день манную кашу давали – приносили такую большую кастрюлю, ставили, а у нас у каждого своя миска и ложка, и вот черпаком наливали каждому. Ну, конечно, каша на воде, без ничего, синяя такая – но, всё равно, к а ш а… И триста грамм хлеба выдавали по карточкам – ну и пайки там какие-то мать раз в месяц получала, ходила, в очереди отстаивала… И, конечно, мы аттестат получали, за отца, ну там… рублей пятьсот в месяц – а буханка хлеба на рынке сто рублей стоила. Ну и поэтому всегда есть очень хотелось… Но, главное, у нас всю войну в школе была военная подготовка. Винтовку образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года – винтовку Мосина – я назубок знаю. Затвор могу разобрать – ночью с закрытыми глазами. Мы с ними и строем ходили по двору – ну, мелкие, а всё равно, ходили. Один раз маршируем, а наша классная, Раиса Антоновна, идёт, и смеётся: «Ой, не поймёшь, то ли они винтовки несут, то ли винтовки – их!..» Да баба!.. ну, то есть… женщина, чего она понимает?!. Мы и санитарное дело изучали, и ПВХО– противовоздушную химическую оборону: и как бомбу щипцами брать и песком её засыпать, и всякий иприт-люизит, и противогаз изучали, и всё… Как бросать гранату РГД-33 *(показывает)* – взял, рукоятку потянул на себя, повернул, чеку сдвинул, потом открыл, вставил запал, закрыл, чеку сдвинул, бросил. Или – бутылку зажигательную взял, чиркнул спичками, поджёг, по танку кинул. Все умели – а я лучше всех… Я так на фронт хотел попасть, я!.. Когда объявили, что суворовские училища организуют, я сразу же: все документы, справки собрал, заявление написал – и отправил. Я думал: возьмут меня в училище, обучат – и на фронт. Да я уверен был!.. Я же сын красного командира, комсомолец, отличник, в спортивной секции занимаюсь – ну, кого им брать, как не меня, правда? Ну, кого?.. А они всё отцу переслали, в госпиталь – разрешение у него спрашивали. А он не разрешил. Письмо прислал. Ругать не ругал, но… не разрешил. Я тогда опять: все документы, все справки медицинские собрал, заявление написал – «прошу принять»; и – в нахимовское!.. Опять – отцу всё отправили. Ну, он уже… ну, в общем, запретил. Я уже больше заявлений и не подавал никуда…

 Вот самое-самое, что было во время войны – это, конечно, битва на Курской дуге. Когда наши перешли в контрнаступление, заняли Орёл, заняли Белгород… и первый салют. Это такая была радость, такая… *(Резко вытирает глаза рукавом.)* Мы по радио слышали: «Бух! Бух! Бух!..» – и представляли, как это всё там происходит. Салют-то был в Москве – а по всей стране передавали... сначала приказ верховного главнокомандующего – что… *(торжественно)* «наши войска в течении последних дней, проводя наступательные операции, освободили города Орёл, Белгород… Объявляю благодарность лётчикам такого-то генерала, танкистам такого-то генерала…» *(обычным голосом)* – ну, там, он всех перечисляет… *(торжественно)* «и приказываю – в честь победы произвести салют из ста двадцать семи орудий… двадцать один залп». Вот… Ну, потом уже полегче стало, уверенность появилась… просто уже ждали, когда война закончится и наши с фронта вернутся…

 А у меня тогда как раз история вышла – с другом моим лучшим, Витькой Самохиным… Ну, в общем, подрались мы с ним из-за одной там… Виолетты… Она из Москвы, эвакуированная – а здесь у нас в музыкальной школе училась, и ходила по нашей улице, такая… футляр у неё такой чёрный, со скрипкой, и папка коричневая, а в ней ноты – ну, папка такая… на шнурках, и она её то на плечо повесит, то просто в руке несёт, болтает… Ну, такая, в общем. Москвичка… И вот как-то, в библиотеке нашего Дома Красной Армии стою я за шкафом, и вижу – она пришла. А она меня не видит. И я слышу, она говорит кому-то: «Я сейчас «Баркаролу» Чайковского разучиваю, буду её играть на отчётном концерте». Ага, думаю, понятно – тут же всё записал, чтобы не забыть… А где-то недели через две у нас был вечер в школе, и я к ней подхожу и говорю: «Виолетта, а ты же на скрипке играешь?» Она говорит: «Ну, да…» – «А ты, – говорю, – случайно не знаешь «Баркалору»… «Баркаролу» Чайковского?» – «Ну, знаю, а что?» – «Здорово как, а ты не могла бы, – говорю, – мне её сыграть, а то я давно послушать хотел…» Она говорит: «Да её же часто по радио передают, ты разве не слышал?» – «Да, вроде, нет», – говорю. А она: «Ну, ладно тогда, приходи в гости в воскресенье, сыграю…» И вот я к ней в гости сходил, сыграла она мне эту «Баркаролу»… *(Напевает.)* Тра-та-та-та-та-та-та… а потом я её в кино пригласил. А там как раз фильм шёл американский, про адмирала Нельсона и эту, как её… леди Гамильтон. И вот там такой момент: сидят они в портовом кабачке, а у него эта повязка чёрная на глазу, и она его спрашивает: «О чём думает адмирал?» – а он отвечает: «Адмирал влюблён». Ну прямо как про нас с Виолеттой!.. Ну, прямо как про нас… И вот выходим мы с ней из Дома Красной Армии, после кино, а нам навстречу Витька идёт. Увидел нас, такой, встал, как столб – и в сторону. Чё это он, думаю?.. А на следующий день он возле школы меня встречает перед уроками, и говорит: «Гад ты Ванька, а не друг, так друзья не делают!..» Я стою такой, вообще не понимаю, чё это он взбеленился. А он: «Я же тебе говорил, что мне девушка одна нравится!» – «Ну, говорил», – «Так мне Виолетта нравится!» А этого-то он вообще не говорил! Нет, ну правда, не говорил!.. Ну и, в общем… то, сё… слово за слово… ну и подрались с ним. Вообще потом не разговаривали…

 А дело-то уже к концу идёт, уже прямо вот-вот осталось, со дня на день уже должны!.. Ну и, значит, восьмого мая легли мы спать, и вдруг ночью мать меня будит: «Ваня, Ваня, вставай, чего-то репродуктор шуршит…» А у нас эта «тарелка» была, чёрная такая, здоровая; ну, я, значит, вскочил, отрегулировал, слышу – голос Левитана: «Слушайте все… передаём важное правительственное сообщение… Сейчас перед вами выступит президент Америки Рузвельт…» – ну, то есть не Рузвельт, Трумэн – Рузвельт уже помер тогда; жалко, не дожил до победы – Рузвельт, он хороший мужик был, нашенский: он и в Тегеран прилетал, и в Ялту, и, вообще… нашим он всем нравился. И вот этот Трумэн выступил – «слава Богу, благодарим Бога, что Германия капитулировала»… Потом, значит – обращение Черчилля. Ну, что Черчилль, он смешной такой… буржуй он и есть буржуй. Мы же их всех в кинохронике видели, чуть не каждую неделю!.. Ну и, наконец, передали речь Сталина. Весь дом уже проснулся, все притихли, слушают… Ну, Сталин поздравил – и я тут же выбежал на улицу, и вижу, что никто уже не спит… и первая стрельба пошла!!.. Я назад в дом, схватил наше ружьё охотничье, патроны с дробью, выскочил на улицу – и давай палить вверх; и тут уже офицеры все начали стрелять, кто из чего – по всему городу такая пальба поднялась!!!.. А уже почти рассвело, и вот весь город поднялся, и все пошли туда, где могут своих встретить – ну а я в школу побежал. А там уже толпа во дворе – встречаются, обнимаются, кричат, поздравляют друг друга; и я смотрю – Витька идёт. Я ему кричу: «Витька!» – и сгрёб его; ну, так и помирились, в общем… А потом был праздничный митинг, уже на следующий день – трибуну поставили, и мы все строем шли, все школы, с песнями. А наша школа со своей песней прошла. Ну, мотив был известный – «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», а слова новые. Ну, в общем… ну… слова я написал. Прямо вот за один присест – сел, и написал. Ну, там такие были слова… «На марше к Берлину подходим, гудит под ногами земля!..» Ну, и так далее, в общем… Всем понравилось.

4. ЮРА

 Артиллерист, сержант, 24 года, одет в военную форму, на груди – орден Красной звезды, медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией»; ставит на стол флягу со спиртом.

Ю р а. Построили нас на плацу, весь полк, и объявили: «Сегодня утром Германия напала на Советский Союз. Началась война. Мы победим», – и, чуть не на следующий день, погрузили нас в эшелон… и уже в начале июля мы были под Смоленском. А его уже бомбят, там уже бои вовсю… Ну, мы выгрузились, я – командир орудия… гаубица-пушка у меня, сто пятидесяти двух миллиметровая… Мы свои шесть снарядов по немцам выпустили – и всё, сидим. Ни боеприпасов не дают, ни керосина, ни питания… ничего. Немцы наступают, а мы и ехать не можем – керосин кончился. У нас же эти, трактора, ЧТЗ – Челябинского тракторного завода… они ж пушки везут, на руках же мы их не утащим… И наш командир взвода, лейтенант, приказал бросить орудие и отступать вместе со всеми. И вот наш артполк всё побросал к чёрту, и пошли мы все вместе отступать… Толпами шли!.. Шоссе Москва-Минск – в шесть рядов люди идут… срывают петлицы, кидают винтовки, противогазы, всё бросают… вдоль шоссе – и танки, и пушки, и машины брошенные стоят… самолёты немецкие летают, бомбят… А я строгий, я отделение веду, восемь человек солдат, я им приказал: «Штыки не отвинчивать, винтовки не бросать, противогазы при себе держать». А жрать нечего, идём голодные… и тут смотрим, машина большая, грузовая стоит в сторонке. Мы к ней подошли, посмотреть, что там – а она сахаром гружёная. Мы набили этим сахаром все вещмешки, и шли, жрали один сахар всю дорогу. Неделю мы так шли, где-то… дошли – до Вязьмы, что ль?.. А там опорный пункт был, там отступающих собирали и формировали из них новые части. И нам навстречу комиссар полка: «Вы артиллеристы?» – «Артиллеристы», – «Давайте к нам!» И стал я командовать орудием – уже семидесяти шести миллиметровым. Шесть лошадей, упряжка… а орудия эти – они ещё от русско-японской войны остались, девятьсот пятого года, у них колёса большие, деревянные, железом обитые; станины у них огромные, тяжёлые – ворочать их… но, стреляли они, вообще-то, неплохо.

 И тогда, помню, нас всех построили на поляне, и показали, как расстреливают одного командира полка. Тяжёлое дело… Мы стоим, а нам зачитывают: «Такого-то такого-то, предателя, дезертира… сын раскулаченного, обманным путём вступил в партию… расстрелять». И потом: «Огонь!» – он упал… а нам: «Кру-гом! Шагом марш!» Он в яму упал, стонет, орёт во всю… а у них патроны кончились, они его штыками докалывали… А потом, которые его знали, говорили – прекрасный был человек… не было снарядов, и он помчался в тыл, недалеко там – «почему боеприпасы не везёте?!»… а его посчитали, что он бросил батареи, и побежал...

 Ну, и мы дальше – отступать, уже на Ржев. Немцы бомбят, на пятки нам наступают… Один раз, помню, батарея двинулась, только наше орудие ещё стоит, а тут немцы из леса выскочили, и давай по нам стрелять – из автоматов, из миномётов… а лошадей никак не подгонят. Я плюнул на всё, и шрапнелью – как жаханул по ним!.. Они драпанули… а тут нашу шестёрку подогнали, мы – раз!.. и догонять свою батарею… И сами спаслись, и батарею спасли. Ну, дальше что – сдали Ржев… Только мост через Волгу переехали – и его сапёры взорвали. А вот шестая батарея у нас была, гаубичная – они не успели, бросили орудия на том берегу, и вплавь… а ведь осень уже, вода холодная… немцы их давай расстреливать… но, некоторые переплыли, всё-таки… Повезло нам, что мы мост проскочили – задержись мы минуты на три, и всё… то же бы – так же…

 И вот, когда уже зимой немцев под Москвой остановили, мы закрепились, и стали наступать на Ржев. Такие бои были!.. Идут несколько наших дивизий – слева, справа… и рожки да ножки от них остаются. Если немцы наступают – то же самое: рожки да ножки… Ужас было, что такое... Нашу пятиорудийную батарею приказали выставить на окраине Ржева, на прямую наводку, и поддерживать нашу пехоту. В трёхстах метрах от ихних позиций… и целый месяц мы там простояли!.. То немцы займут наши окопы – наши их выкинут; то наши займут немецкие окопы – немцы их выкинут… А вокруг нас – воронки огромные, залитые водой, снаряды, мины неразорвавшиеся валяются… ходить нельзя было!.. Это же невозможное дело – всё время обстрел, обстрел, обстрел, обстрел… думаешь: «Ну всё, погиб… ну, погиб, погиб…» Нет – живой!.. Немцы нас обстреливают без конца, бомбят… да ещё как-то ночью наши мадамы, ночные бомбардировщицы, на лёгкомоторных самолётах, на нашу батарею бомбы сбросили… другой раз – наши же, сволочи, тяжёлые бомбардировщики… Сколько раз из земли друг друга выкапывали!.. Меня вот тоже – в землянке завалило… Сидели мы там вдвоём с лейтенантом, нашим комвзвода, и била по нам тяжёлая артиллерия, и один снаряд ударил прямо в угол наката. Ну и всё – нас засыпало, мы не можем вылезти, задыхаемся… я стал кричать, звать… а кругом снаряды рвутся, обстрел страшный, по окопу и не пройдёшь… Но, был там у нас один – сибиряк, здоровый такой… вот он вылез из блиндажа, и прям под разрывами прибежал к нам, с лопатой – копал, копал, вытащил меня, потом мы нашего комвзвода кое-как вытащили… и только мы в блиндаж перебежали – ещё один снаряд, и рухнуло всё… Не вытащил бы он нас – так бы мы там и погибли…

 У нас три пушки из пяти разбило, только две остались. Раз как-то ночью пришёл к нам старший инженер полка, орудия осмотрел – так он в ужас пришёл, как это всё увидел… А сколько мы убитыми, ранеными потеряли… Каждую ночь нам человек восемь-десять присылали, взамен выбывших – убитых или раненых. Я так посчитал – примерно пять составов полных потеряли мы за этот месяц… Хороним, хороним… раненых – отправляем… да не только раненых – были, кто уже двигаться не мог, мы их тоже в медсанбат отправляли… а человек семь так и умерли от голода. Жрать нечего было – пшенца иногда немножко давали, и мы похлёбку варили: прямо на огневой позиции стояла кухня, там и варили… Так ропот пошёл – мол, офицерам больше наливают. Ну, комбат и приставил к повару дежурных солдат, пусть сами разливают, всем одинаково… А кони наши – все сдохли. Мы пытались их кормить как-то – траву из-под снега выкапывали, листья старые… нет, все передохли. А был приказ: если вы хоть одного коня на еду пустите – расстрел. Вот мы их и не трогали – они так и валялись там, до костей… Только один конь остался у нас, трофейный, немецкий – огромный такой конь, хвост у него обрубленный был, короткий… мы ему кличку дали – Фашист. А вот когда нас оттуда отправили на переформировку, весной уже – а там грязь такая, страшная грязь по колено, никак нам пушки не вывезти… И вот мы его запрягаем, сами берём эти лямки, и везём вместе с ним. И вот с той поры, как он нам помог всю батарею перевезти, мы все его полюбили, этого коня… и стали его Илюшей звать. Не знай, почему – Илюша, да и всё... Новых коней потом дали – а он, всё равно, был самый любимый конь. А когда двинули мы уже из-под Ржева, он наступил на мину… Он храпел, храпел… и не понимал, что с ним случилось… так и погиб. Мы поехали, а его оставили...

 А я ведь тоже потом – на мине подорвался. Стали мы наступать, а немцы, как уходили, минные поля кругом понаставили – и вот, напоролись мы на минное поле. И послали меня с одним… швили, швили… Гелашвили!.. послали нас с ним дорогу разведать. Отошли мы недалеко… и вдруг он наступил на мину. Меня отбросило метров на шесть, в снег, я очухался, боль в ноге страшная, встать не могу – ну, думаю, слава те, Господи!.. И живой вроде, и раненый – наконец-то меня в госпиталь отправят, отлежусь там, отдохну, лишь бы ногу не отрезали… Санинструктор ко мне подбежал, сапог снял, портянку снял… синяк большой!.. Ни раны, ничего… так я дальше и похромал… А Гелашвили – его сразу убило. Завязли мы там… бои начались тяжёлые… и тогда как раз нашего командира батареи – осколком в висок... Так, там такие бои были, что мы его никак похоронить не могли – мы его привязали, и неделю возили на лафете… и потом только, когда уже поспокойнее стало, мы его похоронили… Прямо в степи, на пригорке – яму выкопали, сделали залп прощальный… и всё, и поехали дальше…

 А меня потом ранило, всё-таки – да тяжело так… Брали мы железнодорожную станцию – ну, пехота брала, а мы огоньку поддавали… там меня и хлопнуло. Снаряд ударил, и меня осколками – в живот, в ноги… *(потирает правое бедро)* осколки вот здесь до сих пор… Погрузили меня на повозку, и повезли по кочкам… а я за живот держусь, кричу: «Вы что, сейчас вылетит всё!» – боль такая была!.. Нет, осталось, довезли… И с ранением я заболел сыпным тифом. Как выжил – и не знай… Лежали мы там в госпитале вдвоём, на одной койке – одного туда головой положили, другого сюда. И вот просыпаюсь утром, а сосед у меня умер. Он умер, я остался – выжил… а его унесли. Отлежал я там, и потом меня домой отпустили. И я прямо с госпиталя поехал к себе в деревню… А когда меня ранило, меня в моём полку потеряли, и матери похоронку послали. Приезжаю я в деревню, а мать мне: «Юра, на тебя ж похоронка пришла!» А я – живой… Ну, что – побыл, подлечился… и на Ленинградский фронт. А когда я на фронт уходил, иду по деревне, и у каждого двора – женщины стоят. Плачут… у каждой – на фронте кто-то, воюет, а они весточки ждут… а кого-то уже убило, кому-то уже и похоронка пришла… И вот иду я по деревне, а они мне – кто рюмку водки подносит… а какой я выпивоха – пригубишь, да и всё… кто платок носовой, или кисет, или, там, гостинец какой мне в карманы суют… плачут!.. Я на гору вышел – а у меня полны карманы всяким этим… дарёным. Вот так провожали меня…

 Ну и, значит – Ленинградский фронт. Опять – сто пятидесяти двух миллиметровые гаубицы-пушки… но, тут я уже был не командиром орудия, а разведчиком. Это… ну как объяснить-то… Мы, артиллеристы, мы можем стрелять с открытой и с закрытой позиции. С открытой позиции – это вот как мы подо Ржевом стояли: это когда вывозят орудия, и стреляют прямой наводкой, прямо по немцам – а до них метров триста, четыреста… А закрытая позиция – это когда орудия стоят за два, за три километра от передовой, а впереди сидит наблюдатель, он в стереотрубу смотрит, где какие цели, и по телефону передаёт сведения на батарею. И вот, значит, передовой наблюдательный пункт – сижу я на дереве, у меня стереотруба в ствол ввинчена, мне даётся сектор, и я должен наблюдать и докладывать по телефону: больше роты скопление пехоты на переднем крае… или – три танка, и два ещё на подходе… А у меня, в моём секторе, ориентиры – дом, столб, дерево, овраг… и я даю отсчёт от него, а там уже командир по карте смотрит, делает расчёты, и открывает огонь – на уничтожение противника, на подавление огневой позиции… Вот такая моя задача. И ошибаться мне нельзя – я ведь всю войну был подозреваемый, у меня ведь отец по пятьдесят восьмой статье сидел…

 Ну и, значит, блокаду уже прорвали, вот-вот наступление должно начаться… А для артиллеристов тогда придумали тактику «наступать огнём и колёсами». Что это такое? Это значит – допустим, две батареи ведут огонь по противнику, потом одна прекращает, и должна сняться и идти вперёд; а какой там успех на переднем крае, это неважно – иди, наступай, лезь вперёд; гибни, но лезь. А вторая тебя сзади поддерживает, ведёт огонь… Потом твоя батарея разворачивается, и сама начинает стрельбу – а та, вторая, идёт вперёд: обгоняет твою батарею, и уже ты её поддерживаешь огнём. Вот в этом смысл… Ну и вот, значит, Пулковские высоты – это как холм такой, и у него на этой стороне стоит обсерватория, вся разбитая, а ниже её, метров пятьсот, наши огневые позиции. И вот наступление началось, мы открыли огонь… мать ты моя!.. Снег был кругом – всё превратилось в чёрное: снаряды рвутся, землю всю аж повывернуло; на этой черноте наши в белых маскхалатах… А у нас стволы раскалились так, что от них пар идёт и краска слетает, мы уже стрелять не можем; снег весь растаял, вокруг орудий грязь… подносчики снарядов сняли гимнастёрки, по пояс голые, мокрые – а зима, мороз… Они же бегом снаряды таскают, а каждый снаряд – почти сорок килограммов!.. Он его из ящика берёт, взрыватель ключом повернул, и бегом несёт заряжающему; заряжающий снаряд у него хватает, заряжает его в ствол, тут же хватает гильзу с порохом, её следом засылает и закрывает затвор; командир орудия командует: «Орудие! Огонь!»; заряжающий дёргает за шнур, кричит: «Выстрел!» – и вот тут-то он и есть, выстрел… и следом наводчик кричит: «Откат нормальный!» И опять он смотрит в панораму, наводит орудие – оно же сбивается от выстрела… а у него две рукоятки, ствол вращать – вправо-влево, и вверх-вниз… И вот опять: «Орудие! Огонь! Выстрел! Откат нормальный!» Грохот стоит, все орут – и это только одно орудие… а их же – целая батарея!.. А там – такое месиво впереди… И всё – и пошли танки, пошли-пошли, всё двинулось… и тут уже мы, батареи, за ними поехали… Орудия везём – а та-ам!.. Валяются головы, руки, ноги; целые люди лежат убитые… э-э!.. Перешли немецкую линию обороны, зашли на ту сторону… мать ты моя, сколько их там лежит тоже – в чёрной форме… тьма-тьмущая!.. А у них там такая сильная оборона была – траншеи, землянки, доты, дзоты… а какие у них землянки оборудованные!.. Прямо, как дом – и насосы, воду откачивать, и электрические лампочки, и лежаки такие удобные, и стол для обеда, и всё на свете… У них же там электричество было, прямо на переднем крае – такие здоровенные катушки с проводами, они их раскатывали, и машины полевые давали на них ток… А у нас там был один… кухня… он из немцев сложил стеночку, буквой «Г», от ветра, и давай нам ужин варить. Я ему говорю: «Ты чего, сдурел?! Мы как это потом есть будем?!» Ну, тут наш лейтенант пришёл, дал ему разгону, велел убрать этих немцев…

 Ну и всё, пошло успешное наступление. А тут вскоре – распутица началась… Танки «Клим Ворошилов» тонут, аж по самые башни; пехота идёт – еле двигается; мы со своими орудиями увязли… дороги все размесили, указаний никаких нет – кому по какой дороге идти, все лезут кто куда, заторы… а это ж хорошая мишень для немцев – они летят, бомбят!.. Меня там как раз осколком подранило… Ну, потом уже, видать, дошло до кого-то наверху, приказали: кто создаёт заторы – расстреливать, а машины – в кювет. На моих глазах две тыловые машины с продовольствием, полуторки, застряли, буксуют, выехать не могут… а мы – боевая часть, у нас орудия, нам идти надо… и майор приказал, и солдаты их прямо руками перевернули в кювет… Успех наступления большой был – но и кутервасия тоже большая… Стали брать лошадей у местного населения: вешают на них два ящика со снарядами – ящик справа, ящик слева… и ведёт солдат эту лошадь под уздцы, по колено в грязи… а под эти перемётные верёвки подстилки никакой, лошади спины порастирали, потом их отпускают, они ходят с растёртыми спинами – а куда она пойдёт, не знай… не поведёт же солдат её назад, отдавать хозяину… Э-э!..

 И вот тогда, помню, случай был – освобождали мы деревню одну… Ольховка, что ль, она называлась?.. Ну, как освобождали – немцы уже ушли оттуда… Красивая такая деревня, большая, вся целая!.. И вот мы подходим, и видим: овражек такой, и в нём, прямо на снегу, человек двенадцать лежит – голых, сине-жёлтых, замёрзших… скорчились, некоторые в обнимку лежат… прямо вот – в чём мать родила!.. Все мужики… и один мальчишка среди них, лет двенадцати. Не расстрелянные, не убитые… что такое? Ну, местные нам и рассказали: оказывается, это наша группа глубинной разведки была. Они, когда возвращались, немцы их поймали, раздели, загнали в овраг и стояли над ними, пока они не замёрзнут. Так они живьём и замёрзли…

 А мы тогда шли на Псков, но до него мы не дошли – нас оттуда перебросили на Карельский перешеек, воевать с Финляндией. Это был конец весны – начало лета сорок четвёртого года… А мы тогда уже богато жили: пригнали нам американские новые трактора, тягачи – у них гусеницы широкие, проходимость у них большая… Потом – вымыли нас всех в бане, собрали всю нашу одежду, и выдали нам новое чистое нательное бельё, лощёное – на нём вошь не держится… выдали гимнастёрки новые, штаны, телогрейки – всё новое, всё чистое... и легли мы спать. И так спали мы все беспечно!.. Короче говоря – подготовились на прорыв глубокоэшелонированной финской обороны очень крепко. Ну и, быстро мы там управились – вот, за Выборг бои были тяжёлые, это да… но мы уже наступали, нас уже не остановить… и всё, и Финляндия объявила, что она выходит из войны. Подписали перемирие… а мы пока стояли – ждали, когда подпишут. А в Финляндии, там – озёра, озёра… камни громадные, валуны – с дом, даже больше, все мхом обросли, и на них уже деревья сверху растут… А на озёрах бани стоят, сауны – мы там мылись, топили их… жарко, в озеро ныряешь… прямо – красота!.. Дома лёгкие, просторные, печку истопил – жара!.. инструмент весь – с крашеными ручками… чистота, аккуратность везде и всюду, порядок, дороги хорошие, леса чистые…

 И оттуда уже нас перебросили в Прибалтику: Таллинн, Рига, Вильнюс, Каунас… И вот там, помню – спиртзавод… Зашли мы, а там ёмкости огромные стоят – их из бронебойных винтовок пробивают, и оттуда фонтан – только подставляй!.. Там его – по колено было, этого спирта. Вот танкисты там повластвовали… у нас-то – фляжка, ну нальёшь ты фляжку… а они – в канистры заливают!.. *(Усмехается.)* И такое было… Да, а к нам ведь на фронт артисты приезжали, концерты делали – интересно так… Две машины грузовые, два ЗИСа, поставят рядом, борта откроют, и получается сцена. Застилают её чем-нибудь, лесенку сбоку ставят, и выступают – и песни поют, и играют, и пляшут… И вот однажды, помню, на одном таком концерте, один артист вышел, и начал рассказывать: «Товарищи!.. Вы знаете, что… вот если собрать весь-весь металл на земном шаре… вы представляете, сколько это будет металла, представляете, да? И из этого металла сделать топор – вот будет топор так топор!.. Да? Теперь – собрать весь-весь на земном шаре лес… и сделать из него топорище. Это какое будет топорище, а? Вы представляете? И этот топор насадить на это топорище… вы поняли, что это будет за топор, да?» Все думают – наверно: «и Гитлеру голову отрубить!»… или ещё что-то такое… А он: «И всем миром занести его на высокую-высокую гору… и оттуда бросить в озеро. Вот бы булькнуло!..» *(Смеётся.)* Булькнуло!..

 Ну и дальше уже – Германия, Восточная Пруссия, крепость Кёнигсберг. Вот тут бои были… Это страшная такая крепость, там такие укрепления, такие форт*ы*, такие каналы!.. Чёрт знает что… Его и наши бомбили, и англичане бомбили… разбили его почти весь, этот Кёнигсберг, превратили его почти что в руины. Немцы там везде громадное сопротивление оказывали… Венгрию, Румынию уже взяли, Берлин уже бомбят – а мы всё ещё с Кёнигсбергом воюем. Перед самым штурмом, помню – трое суток мы по нему долбили, наши батареи!.. Сколько там народу полегло… э-э!.. И после взятия Кёнигсберга направили нас в Пиллау[[3]](#footnote-4), и поставили на берегу – закрыть выход в море, чтобы оставшиеся немецкие корабли и подводные лодки не смогли прорваться оттуда и уйти.

 А девятое мая… мы тогда как раз в Пиллау были, воевать мы уже кончили… И вот, помню, легли мы спать… а у нас был там такой Крайзман, Хаим Лейбович, старшина, из Гомеля. Он такой грамотный был мужик, математик, преподаватель – он с нашими офицерами математикой занимался, обучал их… любые расчёты мог сделать!.. Для артиллерийской стрельбы, там же очень сложные задачи надо решать – а наши командиры, они ж через одного малограмотные, семь классов только кончили… это редкий случай, если десятилетка!.. и военное училище – ускоренный выпуск… вот Крайзман это только всё и делал. И вот, значит, легли мы спать, а он дежурным остался. И вдруг он вбегает, и кричит *(картаво)*: «Пожар!.. Пожар!.. Вы горите!.. Пожар!..» – мы, спросонья, как есть, нагишом, в одних кальсонах выскочили: «Где пожар?! Чё горит?!» А он смеётся-заливается: «Война кончилась! Победа! Война кончилась!..» – и из пистолета бах! бах! в воздух стреляет… Вот так я Победу и встретил – в одних кальсонах… А днём танцы устроили – нашли баяниста, и плясали… Один старший сержант, пожилой уже, танцевал польку – эх, и красиво!.. Да так он выбивал, ногами… А врача нашего, капитана, заставили: «Спляши чарльстон!» – и он такие выкрутасы выписывал… а я и не знал, что это такое за «чарльстон»… Дальше – командир полка, украинец, гопака плясал… И ещё был там у нас один цыган, Хомка, всю войну прошёл – вот он цыганочку… эх, и сплясал!..

 Я не знаю, как я живой остался… один Господь знает. *(Усмехается.)* Все ж неверующие у нас… комсомольцы да партийные… это ж запрещено всё… А когда идёт обстрел, землянку всю аж качает… то каждый про себя: «Спаси, Господь, спаси, Господь!..» А так-то – все неверующие конечно, ага… У нас в деревне церковь такая красивая была… огромная… сшибли её всю, колокол сбросили, иконы повыкидывали… э-э!.. Я когда на фронт уходил, мать мне написала «Живые помощи»[[4]](#footnote-5), молитву, на листочке, и вшила мне её в гимнастёрку *(похлопывает по нагрудному карману).* И я с ней до конца войны, всё время с ней, и никуда я её не девал. Может, она меня и спасла… Я ж крещёный… в детстве, помню, мать строго с нами – ложишься спать, молись. А она сзади стоит, смотрит...

5. ВОЛОДЯ

 Подводник, инженер-капитан 3-го ранга, 25 лет, одет в военно-морскую форму, на груди – ордена: Красной звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией»; кладёт на стол две плитки шоколада «Золотой ярлык» и связку вяленой рыбы.

В о л о д я. Я в тридцать восьмом году поступил в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. А в тридцать девятом объявили комсомольский набор в армию и флот. И вот меня вызывают – парторг, комсорг, заведующий учебной частью… ну там, целая команда сидит… и говорят: «Ты хороший студент, комсомолец, у тебя всё сдано – и ГТО, и ГСО, и ПВХО, и «Ворошиловский стрелок»… и мы тебе доверяем идти по комсомольскому набору. Садись и пиши заявление, что ты добровольно, хочешь…» Ну и всё – я и написал… А попробуй, откажись: выгонят и с института, и с комсомола… ещё и статью пришьют – враг народа… И вот, значит, собрали нас в облвоенкомате, прошли мы в госпитале медкомиссию… я-то в лётчики хотел, а мне говорят: «По состоянию здоровья ты проходишь на флот, в подплав – подводное плавание…» О-о, ну, это – да-а!.. И так вот я и попал в учебный отряд подводного плавания – сначала в Ленинграде, а потом нас в эшелон посадили, и отправили во Владивосток… А мы же институтские, у нас и зачётки с собой, они смотрят: «О-о, да ты и сопромат сдал!.. Ну, всё – нечему вас учить…» *(Усмехается.)* Они нас «академиками» прозвали… ну и невзлюбили, конечно… Нас там ого-го, как гоняли – мы там и лодки изучали, и практику на них проходили… и лёгководолазное дело, обязательно – вот это я любил, да… *(Усмехается.)* Помню, как я первый раз подводную лодку-то увидел… испугался!.. На палубу поднялся, а она вся – в дырках… думаю: «Ё-ё, как же она плавать-то будет, с дырками?!. Она ж сразу утонет…» *(Смеётся.)* Ну, потом-то уж, как начали лодку изучать, нам объяснили… У подводной лодки, у ней есть прочный корпус, а снаружи на него надет лёгкий корпус, для улучшения мореходности, и вот в нём-то и есть эти самые шпигаты – ну, отверстия, чтобы при погружении вода свободно по прочному корпусу гуляла, чтобы никаких там воздушных мешков не было… Ну и конечно, когда первый раз попадаешь внутрь, сразу начинаешь об лодку стучать головой – машинки вентиляции, они же все наверху, и вот ты, пока не привык, идёшь и стукаешься об них…

 И вот, значит, год я там проучился, и вышел – старшиной электромеханической группы. И отправили меня в Петропавловск-Камчатский, в третий отдельный дивизион подводных лодок. А я, ну… салага: мне двадцать лет всего отроду, а у меня матросы – по двадцать восемь, да по тридцать лет… вот и командуй ими. Но, мне проще было: я практику проходил на «Ленинце», и пришёл на «Ленинец», тринадцатой серии. Это самые мощные, самые боевые, семиотсечные лодки; у них шесть носовых торпедных аппаратов, два кормовых, и две минных трубы – мало того, что мы могли торпедировать транспорт, ещё мы могли в подводном положении минировать бухты, порт*а*… ну, то есть, минные заграждения ставить. Экипаж на «Ленинце» порядка шестидесяти человек – пятьдесят пять, пятьдесят шесть… Он делится на боевые части. Первая боевая часть – штурманская: это штурманы, рулевые, сигнальщики… БЧ-2-3[[5]](#footnote-6) – туда входят артиллеристы, торпедисты, минёры. А вся обслуга – ну, там, подавать, заряжать… это и электрики, и мотористы, и кок… ну, повар – снаряды подносил… Четвёртая боевая часть – это связь и шифровальная служба. Ну и БЧ-5 – инженерно-механическая: это старший инженер-механик, дизелисты-мотористы, электрики-аккумуляторщики и трюмные машинисты. Это самая боевая часть – на нас стояла живучесть и непотопляемость корабля. Она и самая многочисленная – человек двадцать… ну, то есть, треть экипажа. Ну, ещё, конечно, есть командир корабля; за ним идёт его первый помощник, старпом – его ещё на корабле называют «собака»; а дальше – помощники: командир первой боевой части, командир второй-третьей, ну и так далее…

 И вот, значит, начал я служить. На лодке каждый день после подъёма флага – первичные мероприятия по борьбе за живучесть… мы их «первобытными» называли: пожар в отсеке, залив в отсеке, пробоина в отсеке, заражение в отсеке, артиллерийская тревога… И вот такие учения – каждый день. Поэтому мы их и звали «первобытными»: надоедает!.. А что делать… Ну и, конечно, приборы, механизмы, которые на тебя расписаны, ты с ними каждый день занимаешься – следишь, проверяешь, отрабатываешь, ремонтируешь, если что… Но, это когда ты стоишь в базе. А если на выходе – то, заступаешь в боевую смену. Ночные смены, самые тяжёлые, с ноля часов до четырёх утра – их ещё «собачьи смены» называют… они по два часа, а дневные – по четыре. Это для того, чтобы сделать пересменку, чтобы не попадали люди каждый раз в одно время…

 Эх, я ж про главное-то забыл рассказать!.. Лодка, она ведь как погружается? У ней между прочным и лёгким корпусом есть балластные цистерны. В цистернах – кингстоны и клапаны вентиляции. Кингстоны открываются, цистерны заполняются водой, лодка погружается. Это всё – секунды!.. А чтобы всплыть, цистерны продуваются сжатым воздухом, вода вытесняется, и лодка всплывает. *(Усмехается.)* Вот так вот всё просто… Когда ты в надводном положении идёшь, под дизел*я*ми, ты идти можешь – на сколько у тебя соляра хватит. А в подводном ты уже идёшь на электромоторах… и вот с чем ты погрузился – то у тебя и осталось, и этим ты и дышишь. У нас на лодке этого воздуха хватало на семьдесят два часа – то есть, через семьдесят два часа у всех будет кислородное голодание… ну и – смерть. Нет, у нас был запас кислорода, обычно – один-два баллона брали… но тут же не в кислороде дело, а в углекислоте. Сколько этого кислорода не добавляй, ты же закупоренный сидишь… дышишь и выделяешь углекислоту – а от неё нужно избавиться, потому что если у тебя в воздухе будет больше пяти процентов углекислоты… всё, отравление и смерть. И на лодке, во всех отсеках, есть специальные машинки вентиляции, патроны регенерации, их очень много везде, и они поглощают эту углекислоту – ну, то есть, очищают воздух от углекислоты. Но, всё равно – воздуха у тебя только на семьдесят два часа… а потом ты должен всплыть, и включить вдувную и вытяжную вентиляцию. Ну, если можешь, конечно – всплыть…

 И вот, значит, в ночь на двадцать второе июня сорок первого года я заступил на дежурство. А мы стояли в базе, в Петропавловске-Камчатском… И приносят мне газету «Правда», и я там читаю, что, значит, мы не поддадимся на провокации, и что мы выполним все наши обязательства по договорам с дружественной нам Германией… Только прочитал – и, смотрю: бегут – топ-топ-топ!.. «Готовность номер один!» Что такое?.. Кто, что, чего – никто ничего не знает. Комдив: «Приказ верховного командования – готовность номер один», – и всё. Потом уже мы узнали… что Николай Герасимович Кузнецов, нарком военмора, он всё-таки не выдержал, и передал по всем флотам – готовность номер один. Сталин-то, он сведения получал, но думал, что это всё провокации, и всё такое… А Кузнецов не выдержал, и отдал приказ. Вот почему немцев и встретил только флот – во всей стране, во всех вооружённых силах… Лётчики все – кто в отпусках, кто у баб были; их там половину сразу разбомбили, прямо на аэродромах!.. Да и почти всех так… И только флот был – в полной боевой готовности, и в первый день не потерял ни одного корабля, и ни одного матроса… Ну и потом уже, на следующий день, вечером, по радио передали, что – война… У нас ведь с Москвой разница восемь часов, поэтому у нас уже вечер был… вечер двадцать второго. Ну и сразу – рассредоточение… и из Петропавловска, от мыса Сигнального, мы ушли в бухту Ягодную.

 А там ведь всё побережье сдавалось в концессию японцам. И вот, например, на Лопатке – стоит наша погранзастава, полсотни человек пограничников, катер у них там бронебойный, с пушкой и с двумя пулемётами… а рядом – рыбзавод: три тыщи рабочих-японцев. Это же целая воинская часть, им только оружие дай, и всё… И поэтому когда война началась, наши спохватились, и отправили нас охранять побережье, и выселять этих японцев – концессия у них уже заканчивалась, и продлять её, конечно, никто не собирался. У них там и свои корабли стояли, и ещё эсминцы японские пришли, и встали на границе, в своих территориальных водах; ну а мы – в своих: всплывём, покажемся… они и уходят. То есть, японцы поняли, что – под охраной побережье находится… И вот они этих всех рыбаков сняли, и перебросили их на Курилы, охранять эти острова – Шумшу, Парамушир… и в сорок пятом уже мы их оттуда выбивали… А Япония тогда уже воевала с Америкой, они в декабре сорок первого Перл-Харбор уже в пух и прах разбили, и вот американцы в каждую погожую минуту летали бомбить Шумшу и Парамушир. Они из Датч-Харбора вылетали, а мы на них смотрели: они выходили прямо на Петропавловск, над Авачинской бухтой разворачивались, и вдоль нашего камчатского побережья, ориентир хороший, шли на Курилы – и три года их так бомбили…

 Ну и вот, наступил сорок второй год. Идёт Сталинградская битва, Ленинград окружён, Балтийский флот весь запертый сидит в Финском заливе – и, вообще, на Балтике тяжело… А в это время союзники уже начали нам по ленд-лизу передавать и питание, и боезапас, и военную технику – а как? Только северным путём, на Мурманск и Архангельск… Ну, ещё, конечно, через Владивосток – но это ж десять тыщ кил*о*метров до Москвы!.. А у нас, на Северном флоте, против пятнадцати наших подводных лодок, на начало войны, немцы бросили аж сорок подводных лодок; а уж про надводные корабли… и говорить нечего – один ихний «Тирпиц» чего стоит… И вот немцы эти транспорт*а* топили, расстреливали… ну, очень тяжёлое было положение. И поэтому наше командование приняло решение направить на Северный флот с Тихоокеанского подмогу – три надводных корабля, и шесть подводных лодок: два «Ленинца», и четыре «Эски». Это всё секретно было, конечно – мы уже потом узнали, и то, только про себя; а что с нами ещё и «Эски» пойдут, это мы уже когда в Сан-Франциско с ними соединились, тогда только узнали – настолько всё было секретно… «Эски», они сами поменьше, и у них четыре носовых и два кормовых торпедных аппарата, и минных труб нет – но, зато у них скорость побольше: у «Ленинцев» надводная скорость до пятнадцати узлов, а у «Эсок» – до двадцати…

 Ну и вот, значит, в сентябре сорок второго вышли мы из Петропавловска-Камчатского – пятнадцатый и шестнадцатый «Ленинцы»… и пошли на Алеутские острова, на американскую военную базу Датч-Харбор. Я шёл на пятнадцатом «Ленинце», под командованием капитан-лейтенанта Комарова – а шестнадцатым командовал капитан-лейтенант Гусаров. Из Датч-Харбора, вдоль канадского побережья, мимо Ванкувера, мы должны были идти на Сан-Франциско. Головной шла «Л-16»[[6]](#footnote-7), мы за ней – шли под флагами, без охранения, территориальными водами… не встречали – никого, ничего… Короче говоря, утром одиннадцатого октября сорок второго года «Л-16» на глазах у нас была торпедирована – в неё попало две торпеды, и она в течении двадцати секунд с дифферентом на корму затонула… А наша верхняя вахта – вроде как, чужой перископ ей показался – открыла артиллерийский огонь, пять снарядов выпустила, тот вроде скрылся… А мы сразу давай уходить на полном ходу, противолодочным зигзагом… наши акустики стали слушать – но, так ничего и не услышали… только, где-то через пару минут, как «Л-16» ушла, мы ещё один взрыв услыхали – ну, это у ней аккумуляторные батареи взорвались… Мы там долго ещё кружили – надеялись, что, может, хоть верхняя вахта… хоть кто-то остался наверху… погода тихая, штиль!.. но, нет – никого… один соляр на воде плавает… Ну и всё, и мы противолодочным зигзагом пошли оттуда… Точно сказать нельзя, конечно… да японец это был, скорее всего – японская подводная лодка. Они там хозяйничали, как у себя дома… А, может, и американцы ошиблись – они запросто могут!..

 Ну и вот, и после этого в точке рандеву нас встречает американский эсминец, и провожает нас в Сан-Франциско. Там мы почти месяц простояли… и потом туда пришли все четыре «Эски» – вот, когда мы и узнали-то про них… А пока мы в Сан-Франциско стояли, я, как специалист, с нашим военным атташе в Ванкувер ездил, на аккумуляторный завод – они по ленд-лизу стали уже нам их отсылать… и мне говорят: «Давай, съезди, посмотри – может, что полезное увидишь…» Ну и я, переодетый в гражданское, конечно, под видом посла… Но *(показывает фигу)* фиг они нам что показали!.. Упаковочный цех, да образцы – а технологический процесс… дудки. Ну вот, и из Сан-Франциско пошли мы на Панаму. Жарища!.. Духотища!.. В отсеках – ну, как в печке… и это – ноябрь месяц!.. Ну, тропики, понятное дело… Ну, короче говоря – прошли мы Панамский канал, и пришли в Коко-Соло, американскую военную базу в Панаме. Оттуда вышли в Карибское море, и пошли на Кубу – там зашли в базу… как же её… Гуанта… намо, что ль?.. и потом опять вдоль американского побережья, но уже по Атлантике – дошли до Галифакса. Это уже Канада… Там мы кое-что подремонтировали, приняли запас воды, и оттуда ушли в Исландию, в Рейкьявик. Вот тут, конечно, тяжёлый был переход – шторм*а* такие, что аж… еле дошли до той Исландии. Вообще, хочу сказать, что союзники нас везде очень хорошо встречали, запас и топлива и продовольствия – всё пополняли; там, если ремонт или что нужно – во всём помогали… ну, то есть – очень хорошо нас везде встречали. Только, у нас же секретность какая – а мы в Датч-Харбор пришли, а там чуть ли не вся база уже знает: какие советские лодки, куда, когда, в каком составе… Мы не знаем – а они уже знают!.. Ну, и немцы, конечно, тут же всё разнюхали… и они потом по радио объявили, что из Галифакса вышла эскадра советских подводных лодок, и что они её всю уже потопили… *(Усмехается.)* Ага!.. Потопили, как же… Мы же потом разделились: «С-51» [[7]](#footnote-8) напрямую пошла в Полярное – ну, это рядом с Мурманском, главная база Северного флота, куда мы все и направлялись… а мы пошли в Англию. Даже не в Англию, а в эту… в Шотландию, в Гринок – у нас дизель застучал, и рули штормом покорёжило, и мы там в доке встали на ремонт. И простояли мы там почти три месяца… Я там как раз с английскими сухозарядными батареями познакомился, технологию изучил, всё… Работали вместе – английские ремонтники, и наши матросы; языка-то, конечно, не знал никто, а – как-то вот… понимали друг друга. Сунешь ему под нос – мол, не такой, другой надо; а он: «А, а-ха, а!..» – ушёл, и два дня его нету; а помпа разобранная стоит… Они не спешили, конечно – мы психовали, а куда деться, нам сказали: «Ничего с них не требовать, когда придут, когда сделают – тогда и сделают…» Да ещё и немцы – они же Англию здорово бомбили, особенно все эти заводы, базы... и там всё время – тревога, тревога… только: «у!.. у!..» – сирена воет… Ну, в конце концов, закончили мы ремонт, и в мае сорок третьего пришли в Полярное – предпоследними, после нас ещё «С-54» из Англии пришла.

 Да-а, вот так вот мы и прошли – два океана и девять морей… без малого – семнадцать тыщ миль... А в дальнем переходе, там ведь что самое тяжёлое? Вот если собираются в отсеке несколько человек – о чём они начинают говорить? Конечно, о женщинах. От женщин переходят к высшим материям. От высших материй – к политике. От политики – к начальству: всех переберут, до последнего… и кончено. И вот здесь наступает самое страшное: командир идёт по отсекам, а все стоят, как сычи, надулись… потому что говорить уже не о чем – всё обговорили… Это страшная вещь!.. Но вот только тревога – и всё как рукой сняло: все стоят по боевому расписанию… и каждый на своём месте, и каждый борется за живучесть корабля.

 Ну и вот, значит, пришли мы в Полярное… и сразу – в бой!.. Выходим в море, с боевым заданием – на потопление вражеских кораблей, на минные постановки… На боевом выходе, там – азарт… когда ходишь – тише, тише… ждёшь, ждёшь… эх, хоть бы – танкер!.. И тут – акустик: «Слышу шумы!» – «Кто?» – «Сторожевики…» – «Э-эх!.. Ну и чёрт с ними – пусть их… не трогать…» Мы ведь как узнаём... Акустик – он сидит на шумопеленгаторном аппарате, и по шуму винтов определяет, какой корабль идёт. Если винт – сто тринадцать оборотов, шлёп-шлёп-шлёп… это «торгаш» значит, торговое судно, его сразу слышно; а все военные – они высокооборотные… Главное, что он должен знать – шумы подводных лодок немцев, и военных кораблей. Ну, у акустиков, у них там целая школа своя… У нас акустик хороший был, он до войны в консерватории на скрипке учился – так он по шумам определял: «О, о – это горбуша идёт… а это – селёдка…» – по шуму хвостов, вот как косяк идёт, он точно определял… Мы с мелочью не связывались, наша задача была – топить живую силу, но её там мало они перебрасывали морем… а основное – танкер*а*, и транспорт*а* с техникой. Ну, вот, танкер – его потопишь, и, считай, месяц на нашем участке фронта вся немецкая техника будет стоять: горючего же нет…

 А транспорт*а*, они же не просто так, они всегда под охраной ходят… и мы как: атакуем – и сразу уходить, пока нас не засекли; а те давай нас гонять – эсминцы, сторожевики, катера-охотники… они сразу давай глубинки бросать, сериями. Ну, то есть, бомбят нас глубинными бомбами, десятиметровками: у них взрыватель устанавливается на десять, двадцать, тридцать, сорок метров глубины… или, наоборот – на сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят… И они бомбят – по ходу, как лодка идёт: они наш курс высчитывают, определяют – и давай сыпать!.. А мы меняем всё время курсы, скорости, глубину… а у нас-то глубина погружения большая, до ста метров… И вот так в*о*т: они нас бомбят, а мы – вверх-вниз, вправо-влево, вперёд-назад… А под водой ведь и звук, и взрывная волна – они в несколько раз сильней… И вот, когда глубинками-то тебя бомбят, там такой грохот стоит!.. И там так тебя молотит!.. Ну, вот правда: как будто кто молот взял размером с лодку, и долбит по ней: бух!.. бух!.. А ты сидишь, как в железной бочке – только пробка сверху сыпется… ну, пробковое покрытие… А если они тебя нащупали, и бомбы совсем близко ложатся – то у тебя и лампочки лопаются, и приборы бьются… Всё на амортизаторах, конечно – но… там же такой удар, что никакой амортизатор уже не выдержит. И механизмы ломаются, из строя выходят, и прочный корпус – он, хотя и… прочный, клёпаный, из толстой стали… но тут и клёпка может вылететь, и по шву разойтись… а это значит – течь у тебя, и ты задраиваешься в отсеке, и должен её устранить… или погибнуть – а покинуть отсек ты не имеешь права, потому что живучесть корабля и жизнь всего экипажа важней… живучести твоей и твоего отсека.

 А нас ведь во время торпедной атаки легко обнаружить – у нас и перископ торчит, и воздушный пузырь из торпедного аппарата выходит… да и саму торпеду хорошо видать, как она идёт – она след такой белёсый на воде оставляет… Ну и слышно нас, конечно… И тут уже командир смотрит по ситуации. Бывает, мы не уходим, а, наоборот, среди них же и прячемся: ныряем прямо под конвой, в самую гущу, и мы под ними, а они нас не слышат – у них же свои винты работают… Но, там ты долго не просидишь, конечно… Или вот начинают тебя гонять, и не можешь ты никак уйти – тут тебе одно спасение: ты лёг на грунт, и затих. И всё выключается, всё останавливается – чтобы никак тебя не засекли… тихо-тихо все сидят, никаких чтобы даже разговоров не было… матросы ботинки снимают, и в одних носках ходят, чтобы не греметь… даже систему регенерации воздуха отключают, чтобы – ни звука… И немцы тебя теряют, уходят… и ты потом – подвсплыл, и потихоньку, не спеша… выбираешься оттуда. Тяжело, конечно – когда у тебя и повреждения, и углекислота по отсекам, дышать уже нечем… а всплыть нельзя – немцы. Надо ждать, пока не уйдут… а потом ещё и ночи ждать, бывает... Лодка, она же на боевом выходе всплывает только ночью – перезарядить аккумуляторы, провентеллироваться… а днём – ни-ни, днём тебя сразу засекут. Но, опять же – в Заполярье, летом, ты где ночь возьмёшь? Там круглые сутки – солнышко светит. Вот и выкручивайся, как знаешь… А немцы, они, конечно – грамотный народ… сильные, опытные моряки. Враг тот ещё!..

 Ну и на минные постановки мы ходили – у нас ведь две минных трубы, по девять мин в каждой… Немцы, они, считай, всё норвежское побережье, все выходы из фьордов заминировали… а у нас, на основании наших разведданных, были карты их минных полей, со всеми проходами – и вот эти проходы мы и минировали. Там ведь трудность в чём – там большие приливы и отливы… а мина, она хитрая штучка… и если ты поставил мины в полную воду, то потом, во время отлива, их будет видно, и немцы их все расстреляют. Там точный расчёт нужен – и у штурман*о*в, и у минёров… там и интервалы надо выдержать, и чтобы мина с миной не захлестнулись… там, у них, целое дело!.. *(Усмехается.)* А минёров, их как дразнят: «В минном деле, как нигде, всё зависит в чекалд*е*!» Чекалда – это запор, его откроешь, и мина приводится в боевое состояние. Поэтому минёров и дразнят – «чекалдашники»… а механиков зовут «движок» или «маслопуп» – ну, это уже оскорбительное… а так – «движок»…

 Ну, неприятное ощущение, конечно, когда из фьорда выходишь, проходишь их минные заграждения – и у тебя скрежет по борту: минреп, значит… ну, трос, который мину на якоре держит… Этот скрежет ни с чем не спутаешь – он такой… особенный. Ты ведь заграждение как проходишь: ныряешь под минное поле – и ползёшь на брюхе, чуть ли не по дну… а за минреп если всерьёз зацепишься – притянешь мину, она и рванёт… или его запросто можно на винт намотать – и всё, и крышка тебе… А бывает и так, что – наоборот, на минном поле самое твоё спасение. Вот насели на тебя, бомбят, и никак тебе от них не оторваться, то ты тогда нырк под минное поле, и спрятался там – а они туда не полезут, они ж подорваться могут… но, они и не уйдут – а у тебя хоть передышка будет: для ремонта, и дух перевести, оглядеться…

 Ну и что ещё… ну и разведывательно-диверсионные операции мы проводили… *(Усмехается.)* Ладно, расскажу… Наша основная задача была – скрытно высаживать разведгруппы. А как – скрытно? Мы их на лодке доставляем куда надо, всплываем, надуваем резиновые шлюпки, и переправляем их на берег. Ночью, конечно – только ночью… А берег – там же неизвестно: можно их высадить, или нет... Бывает – быстро партию высадим, часа за полтора: всплыли, высадили… погрузились и ушли. А бывает и так, что – пришли, осмотрелись, а лодке всплывать нельзя: немцы. Или шторм такой, что к берегу и не подойти… Разведгруппы, они небольшие обычно были – человека три; и там и наши, и норвежцы… Ну и забирали мы их тоже – с берега снимали. Тут опять, целое дело!.. То они ко времени не успевают, то мы – подойти не можем... а то и вообще – засада…

 Ну, вот так вот мы в боевые выходы и ходили… А когда ты уже в базу возвращаешься, ты даёшь радиограмму – сообщаешь, как и что… И тебя наши корабли встречают, провожают… и, когда уже в гавань заходишь, ты салютуешь холостыми из носового орудия – и так вся база узнаёт, сколько кораблей лодка потопила. И все, кто есть в базе, тебя на пирсе встречают, оркестр военный играет… и потом праздничный ужин, и выносят жареных поросят – тоже, вот сколько ты потопил, столько поросят и выносят. Ну, это традиция такая у нас, на подплаве… Да, а на боевом выходе нам же положено дополнительно – по пятнадцать грамм шоколада, и по пятьдесят грамм красного вина, каждый день. Но, никто этот шоколад во время хода не ел, конечно – а как приходим, всё сразу получаем: плитку, две... И потом – на танцах девчонок угощаем… или ребятишкам отдаём – они ж голодные все… И с вином так же – бутылку получаем: «Сегодня ты берёшь, завтра – ты…» И с этой бутылкой – опять, в гости…

 Я вот к*а*к думаю… нет, ну понятно, что – выучка, мастерство, сплочённость экипажа… но, ещё и счастье, что ли… везение какое-то должно быть. Вот вышло нас на Северный флот шесть подводных лодок – и только три до победы довоевало. «Л-16» на переходе погибла, «С-55» в декабре сорок третьего в базу не вернулась, «С-54» – в марте сорок четвёртого… А на «С-54», у Братишки, какой экипаж хороший был – у-у!.. Это командира так звали – Братишко… ну, фамилия у него такая была. И, всё равно – погибла лодка… А «С-56», под командованием капитан-лейтенанта Щедрина, стала гвардейской, краснознамённой, Щедрин стал Героем Советского Союза… и потом уже, после войны, она Северным путём, из Мурманска вернулась во Владивосток – то есть, кругосветку сделала. И вот – как?.. Конечно, от удачи тоже зависит…

 А меня весной сорок пятого года направили в Канаду, в Ванкувер – в спецкоманду: надо было аккумуляторные батареи получать, и везти их на ТОФ, в Петропавловск-Камчатский. И вот, из Мурманска я на военном транспорте ушёл в Англию, а оттуда мы уже на самолёте летели – ну, с посадками, с дозаправками… Да, и вот там, в Ванкувере, я как раз с Аннушкой и познакомился… Анна Ивановна Щетинина, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Она-то, вообще, дальневосточница, с Камчатки – «Чавыча» её первый корабль назывался; а потом она уже на этом, на «Жан-Жоресе» ходила. Она его в сорок третьем, в Лос-Анджелесе, по ленд-лизу получила – он этот… типа «Либерт*и*», четырнадцать тыщ тонн водоизмещением. И вот она на нём из Америки, из Канады военную помощь во Владивосток доставляла. Она тогда, в Ванкувере, всё переживала: «Неужели у меня «Жан-Жореса» отберут, как война кончится, и назад американцам отдадут…» Нет, она, хоть и женщина, а капитан была… дай Бог любому мужику. Но, это, всё-таки, грузовой, надводный… а у нас-то, на подплаве, никогда женщин не было – избави Боже!.. Хотя… пытались, там… *(Усмехается.)* Ладно, расскажу… В сорок третьем году опять объявили комсомольский набор, и девчонки – отчаянные такие, отличницы… пошли. И стали их принимать на локаторные курсы – готовили из них там локаторщиков, шумопеленгаторщиков… И вот, помню, в начале сорок четвёртого года, стояли мы в Молотовске[[8]](#footnote-9), и должны были везти боезапас на Рыбачий. И вдруг матрос прибегает: «Товарищ командир, вас в штаб, срочно!..» Он ушёл, задерживается… и тут, смотрю – идёт, с двумя дев*и*цами. Ну, они в матросской форме, в бушлатах, в бескозырках… Я и внимания особого не обратил – у нас же там много было женщин в штабе: телефонистки, радистки… да все жёны командиров там работали, и все форму носили. И вот он их на пирсе оставил, ко мне подходит, я смотрю – а у него с лицом что-то… не то. И он мне говорит: «Вот что… эти две дев*и*цы, которые там стоят… к нам их дают, на радарные установки!» Ёлки-ты-палки!.. «Они сейчас пойдут, – говорит, – осмотрятся, ты им там всё покажи… ну и отговори их как-нибудь. Я-то пожилой уже, в годах, они меня не слушают – я только заикнулся, они мне сразу пригрозили, что если что, мы на вас в политотдел пойдём жаловаться. А ты молодой, ты с ними там – «шу-шу-шу-шу», наговори им там всякое… ну и – отговори!..» Ну, ладно, что… подхожу к ним, даже рта не успел открыть: «Вы кто?» – «Я – старший инженер-механик», – «Вы нас сейчас пров*о*дите на корабль, и всё нам пок*а*жите – а если вы начнёте нас отговаривать и всё такое, мы на вас пожалуемся в политотдел». *(Смеётся.)* Да чёрт с вами, идёмте на корабль!.. Зачем нам – политотдел… всё равно ведь – заставят… Давай думать, куда их… ну, в каюту их надо – не поместишь же их в жилой отсек, с матросами… Отдал я им свою каюту, а она ж узенькая – метр шириной где-то… а высота – ну, мой рост… Боцман придумал матрас мой оттуда вытащить, и им там одну над другой пружинные сетки поставить – а девчушки-то щупленькие, вот они там вдвоём и разместились… Ну, я им сразу – первичные мероприятия по кораблю: пожар в отсеке, залив в отсеке, пробоина в отсеке… и так далее. Причём, они даже водолазное дело уже прошли – и я им говорю: «Вот, миленькие мои, летом снова будем проходить…» – а они: «Это что, опять в воду лазить?!.» – «Обязательно», – говорю… *(Усмехается.)* Ну и т*а*к вот всё, значит… А мы должны были артиллерийские снаряды доставить на Рыбачий, и оттуда – к Киркенесу, на курсирование. Погрузились, вышли… ну, и – началось… Да и качка-то небольшая была!.. А они – всё, в лёжку лежат, у них морская болезнь… да ещё у них и это… «женское» началось. Я-то откуда знаю, а командир женатый, догадался, он мне и говорит: «Слушай, Володь, девкам плохо, им надо горячую воду, ты там организуй давай…» Ну, пошёл я к дизелям, а у них же охлаждение, и там такой краник есть, и вот мы к нему шланг привернули, брезентом уголок застелили, отгородили – ну и, купайся: вода-то горячая, от дизелей… и потом она вся в паюлы[[9]](#footnote-10) уходит, и мы её помпой откачиваем… Ну и всё, и как только пришли мы в Полярный, они тут же: «Ой, нет… мы, наверно, не сможем…» Ну, слава Богу!.. Командир им говорит: «Конечно-конечно, мы всё понимаем, идите к флагманскому врачу…» *(Смеётся.)* Ну, на этом всё и кончилось… Да сами же виноваты, настырные такие – захотелось им, видите ли, на крейсерском корабле служить!.. Да ещё на подводном…

 Я ж про чё-то другое рассказывал… А, ну и вот, значит – получили мы в Ванкувере аккумуляторы, оборудование кой-какое, погрузились… и вышли в Петропавловск-Камчатский. И в двух сутках перехода до Петропавловска по радио приходит сообщение о победе над Германией. Ну, и мы тут, конечно: «Победа!.. Ура!.. Победа!..» Тут такое!.. У-ух… Ну и всё, и потом подходим мы уже к Петропавловску, встали, лоцмана ждём, чтобы минные поля пройти – Авачинская бухта, она ведь вся заминирована… Дождались лоцмана, идём, уже в сумерках – и я вижу: а Петропавловск-то весь затемнённый… Я лоцману говорю: «Война ж кончилась, победа!.. Почему ж Петропавловск-то?!.» А он мне говорит: «Да вы чё, ребят… Это с Германией война кончилась. А у нас здесь ещё – Япония…»

 Ну и вот – июнь проходит, июль проходит, мы готовимся… и восьмого августа приходит приказ – «готовность номер один». Началась война с Японией… На суше, в Маньчжурии – там маршал Василевский японскую Квантунскую армию разгромил; тут же наши на Сахалине высадились, Южный Сахалин взяли… А наша задача была – взять Курилы. И вот семнадцатого августа наш десант погрузился на корабли, и пошёл на Шумшу. А мы их прикрывали… Японцы этот Шумшу весь перерыли, укрепили – там… одни сплошные доты, дзоты, подземные ходы, траншеи… и у них там и пулемёты, и миномёты, и артиллерия, и танки даже были!.. Там… крепость целая, а не остров. Ну и сопротивлялись японцы, конечно, очень сильно – они нас не ждали, а когда очухались, как давай долбить!.. Несколько наших кораблей они прямо тут же, на подходе потопили… А у нас, конечно, первой шла морская пехота – а за ней уже все остальные. На Шумшу, там – очень тяжёлые бои были… я-то сам не видел, понятное дело – мне ребята потом рассказывали… Ну и вот – не согласен я, что считается, что Великая Отечественная война закончилась девятого мая. Для нашего народа Великая Отечественная война закончилась третьего сентября. Потому что… сколько лучших воинских частей туда перебросили, сколько людей, которые прошли войну с Германией, победили – а погибли на сопках Маньчжурии, на Курилах и на Сахалине!.. И вот друг мой, Коля – Николай Вилк*о*в, Герой Советского Союза, боцман с плавбазы «Саратов»… когда на Шумшу высадились, он командовал взводом моряков-десантников, и надо было брать последний дзот, и Николай закрыл его собой, и погиб. И что же он – не герой Великой Отечественной войны?..

 Ну а я-то всю войну прошёл – без единой царапины. *(Усмехается.)* У нас ведь, у подводников, ни ранений, ни контузий… не бывает. Мы или живы-здоровы – или нас нет. А это уже, как тебе на роду написано… У меня ведь вся семья воевала – и отец мой, и сестра, и я… одна мать дома оставалась. И все живыми вернулись… *(Пожимает плечами.)* И так бывает...

6. ТАНЯ

 Школьница, 17 лет, одета в кофточку и юбку, перешитые из маминых старых вещей; на ногах – самодельные тапочки; ставит на стол стеклянную банку с полевыми цветами.

Т а н я. Нас с мамой во время блокады спас Тухачевский. Тот самый, которого расстреляли в тридцать седьмом, как врага народа – а в сорок втором, в самую страшную первую блокадную зиму… он нас спас. Дело в том, что мой папа, он был скульптором, довольно-таки успешным – он был членом Союза художников… у него было много работ, сделанных с Сергея Мироновича Кирова, ещё при жизни… и вот как раз в тридцать седьмом году ему заказали большой барельеф Тухачевского. Отец был очень рад, конечно, ему сама модель очень нравилась – Тухачевский был такой… красавец… отец говорил, что у него такая… богатая фактура… и поэтому он с большим удовольствием и с вдохновением делал этот барельеф... А потом надо было уже сдавать работу, и должна была прийти комиссия, которая эту работу принимает, подписывает акт, выписывает деньги… И вот пришла эта комиссия, посмотрела работу, приняла, подписала акт… попросила кувалду, и тут же вдребезги её разбила – и работу, и форму… прямо в мастерской, на глазах у отца. Он был очень расстроен, конечно – хотя, за работу ему заплатили, но… сами понимаете. А мы тогда ещё не знали ничего – но, когда комиссия ушла, отец сразу сказал: «Ну всё, Тухачевский слетел». А на следующий день вышли газеты, и мы узнали, что Тухачевский, оказывается – враг народа… Вот, а сама форма обычно была гипсовая, но иногда делали желатиновую форму, и вот отец собрал все эти осколки, и куда-то их запихал. Желатин, его же потом снова можно использовать… И вот он сам, почему-то, об этом не вспомнил… он умер в декабре сорок первого, и так и не вспомнил… а мама уже после его смерти, когда мы начали есть столярный клей, вспомнила об этом разбитом Тухачевском, и что он был желатиновый. И вот она всю мастерскую перерыла, нигде не могла его найти… а у отца там стояли такие бочки с мраморной крошкой – он и по мрамору работал тоже… и вот, в конце концов, на дне одной из этих бочек она и нашла этот желатин, который отец тогда не выбросил. И мы этого разбитого Тухачевского потом варили и ели…

 Мы тогда жили на Васильевском острове, на Третьей линии, между Средним и Большим проспектом, прямо посредине, в доме Бенуа. И, это, собственно, была мастерская самого Бенуа. При ней была крохотная трёхкомнатная квартира, коммуналка, и одна комната была наша, мы в ней жили – а сама мастерская была огромная, с отдельным входом, полтора этажа высотой, со стеклянной стеной и стеклянной половиной крыши… и вот отец там работал.

 Когда бомбёжки начались, мы сначала в бомбоубежище ходили. Сирена завоет – и мы бегом… Во дворах такие… штуки стояли, их дворники заводили вручную, и они выли жутко – и ещё заводы гудели… Но это, если днём. А бомбоубежище, это, собственно, был подвал нашего дома, и вот мама меня с вечера собирала, брала постель, и мы сразу шли туда ночевать, чтобы потом, ночью, во время бомбёжки, не просыпаться и не бежать. Но мы недолго туда ходили – скоро все поняли, что в этих бомбоубежищах даже опаснее, чем в доме, потому что, если разбомбят дом, бомбоубежище заваливает, а разбирать завал некому… и бомбоубежища превращались в такие вот… братские могилы. А потом уже у многих просто сил не было спускаться в подвал. Стали на лестницы выходить – потому что видели, что у разбомблённых домов чаще всего лестницы целыми оставались. Ну и решили, что это самое безопасное место в доме – лестница… Нам повезло, наш дом не разбомбили – хотя, однажды… мы как раз остались у себя в комнате, и… очень близко упала бомба – потому что я увидела, как стены так… закачались…

 И я очень хорошо помню ту бомбёжку в начале сентября, когда разбомбили Бадаевские склады. Мы с отцом потом вышли на улицу, и увидели зарево – громадное такое зарево… полнеба было красным… даже багровым, как закат… и я услышала, как говорили: «Горят Бадаевские склады». И что как это ужасно, и что будет голод, потому что там всё продовольствие Ленинграда погибло… Потом рассказывали, что, когда горел сахар, он просто тёк такими… расплавленными реками, и люди пытались его как-то лопатами отгрести… И сразу после этого ввели очень строгие карточки. Хотя, ещё до этого всё в магазинах скупили… и все витрины были заставлены крабовыми консервами. Их полно было, их завезли ещё до войны, они были страшно дорогие, и никто их не покупал – всё остальное скупили, а их нет. И вот всё было заставлено этими консервами с надписью «СНАТКА». Я же тогда ещё не знала английского, и читала по-русски: «снатка», хотя, на самом деле, там было написано «chatka». Но, потом и их расхватали, конечно… А мои родители ничем не запасались – они как-то… очень скептически к этому относились: говорили, что это всё паникёры, мещане… да у них и денег не было. Ну, художники… они жили два раза в год, от заказа до заказа, а всё остальное время – так… перебивались. А люди не только продуктами, они ещё и мануфактурой запасались – всякими там материями, тряпками, платьями, чулками… И был такой страшный случай… На углу Второй линии и Среднего был универмаг с такими высокими гранитными ступенями… ну, он и сейчас там есть… и вот там стояла длиннющая очередь за этой самой мануфактурой, прямо на этих ступенях, и дальше… и начался обстрел, и снаряд попал прямо в эту очередь. Там просто в кашу всех… Кровь несколько дней стояла, не могли убрать, смыть – никак… И как раз тогда пропала наша соседка по коммуналке, старенькая такая женщина, Марья Порфирьевна – и отец решил, что, наверно, она в той очереди стояла…

 А во всех соседних дворах стояли зенитки, и падали осколки от зенитных снарядов, и мы с отцом, после того, как был отбой воздушной тревоги, шли и собирали эти осколки – они были такие острые, страшные, ещё тёплые… Просто так собирали, из интереса… Я только теперь понимаю, как тяжело тогда было взрослым. А нам, детям, особенно вначале, совсем не было страшно – было интересно! Все эти сирены, тревоги, зенитки, осколки… Это была как такая… игра. А вот родителям… Мама говорила, что отец, когда умирал, больше всего переживал из-за меня, и что в его последнюю ночь они как раз об этом… разговаривали… Мой папа… он был удивительный человек – он был из дворян, учился в кадетском корпусе, в Первую мировую воевал в кавалерии, он вообще очень любил лошадей, дружил с цыганами… А уже после революции он вернулся в Петроград, закончил Академию художеств, и в Обществе Куинджи… это было такое… ну как… общество содействия художникам, организованное Куинджи… и вот там они с мамой и познакомились. Она была театральной художницей… и была младше отца на пять лет. Папа был мой друг – он всегда играл со мной, гулять ходил… *(усмехается)* а мама была наше начальство, маму мы боялись вместе… Когда началась война, ему было уже сорок шесть, его не призвали, и поэтому он остался с нами, в Ленинграде. Он был такой… умелец, на все руки мастер, и сам изготовил буржуйку, из асбестово-бетонной трубы – с дверцей, с конфорочками… прямо ювелирная работа была. Трубу он вывел в печь… у нас в комнате была такая большая белая изразцовая печь… и вот на этой буржуйке мы и готовили, пока было что, и воду кипятили… Для неё совсем махонькие такие дровишки нужны были… даже щепочки. Но и их скоро не стало, и потом уже топили всякой мебелью… и даже книгами…

 Папа умер в начале декабря сорок первого, в первых рядах… тогда ещё не так много умирали. Почему-то первыми начали умирать именно мужчины… и мальчики, мои ровесники. А мы оказались выносливей – и женщины, и девочки… у нас, видимо, был какой-то дополнительный запас сил… для выживания… мы смогли как-то приспособиться… а мужчины умирали. И папа тоже – он очень быстро ослабел, лежал… Двадцать восьмого ноября у меня был день рождения, а ровно через неделю он умер. Мы утром проснулись, а он уже был без сознания. Мама увела меня в мастерскую, и сказала: «Папка умирает, не смей реветь». И отправила меня к нашим знакомым, и там я и провела весь этот день… А потом я пришла, и всё уже было… кончено… Официально он умер от… острой сердечной недостаточности. Потому что диагноз «дистрофия» тогда никому не ставили – это была государственная тайна, то, что люди в Ленинграде умирают от голода, и всем ставились разные диагнозы, и чаще всего – «острая сердечная недостаточность». Ну и, в общем-то, наверно, так оно и было, потому что уже от истощения… внутренние органы как бы… начинают сами себя использовать, и, в конце концов, человек действительно умирает от сердечной недостаточности, или чего-то такого… А мы с мамой остались… Отца сразу похоронить не смогли, конечно – его вынесли в мастерскую, а морозы были страшные, там всё промёрзло, и вот он лежал там несколько дней. И мама попросила своего племянника, Павлика, помочь ей похоронить отца. И они вдвоём, на моих саночках отвезли его на Серафимовское кладбище – нам, с Васильевского, туда было ближе всего… ближе, чем на Пискарёвское. А на Смоленское нельзя было, почему-то… Причём, она даже заказала нашему дворнику гроб, он его сколотил – настоящий, деревянный… а она отдала ему за это какие-то отцовские вещи… А там, на Серафимовском, было очень много народу, очередь… и, хотя она взяла хлеб, специально сэкономленный, чтобы заплатить могильщикам, но… оказалось, что там нет никакой возможности – только общая траншея… Был страшный мороз, они оставили гроб возле этой траншеи… там жгли костры из этих гробов, а тела – прямо так в траншею закапывали… И мама с Павликом сами съели этот хлеб, помянули отца, и пошли – даже не дожидаясь. Потому что, она сказала, если бы мы там остались, мы бы там остались уже навсегда… прямо возле этой траншеи…

 Папа умер в начале месяца, и нам остались его карточки, и мы почти целый месяц жили с лишними карточками, и нас это тоже как-то… поддержало. А потом маме сказали, что можно есть столярный клей, и она нашла в мастерской небольшой запас этого клея, и мы стали его варить и есть. Потом, в эвакуации, когда я рассказывала, все удивлялись и не понимали, как это можно – есть столярный клей? Ну, он же варится из всяких, там… костей, шкур… которые остаются на бойнях – ну, то есть из всяких, там… отходов от мяса. И вот их вываривают, потом это всё высушивают, и получается такой… ну, что ли, концентрат… в брикетах. И вот мама его размачивала, и потом варила. Она туда клала перец, лавровый лист… и потом всё это остужала, и получался такой, как бы… студень. Ну, как бы желе такое… Мне это казалось таким вкусным, ну… таким вкусным, что я маме говорила – мам, давай, когда война кончится, мы всегда будем это есть… Правда, вонища от него была!.. Ну, когда варишь – а потом уже, когда готово… вполне нормальный был запах. Ещё, помню – из кофейной гущи лепешки пекли… А хлеб… Хлеб в разных булочных был разный. У нас рядом было две булочных, и надо было карточки прикреплять либо к той, либо к другой. Вот в Филипповской булочной, на Среднем проспекте, хлеб был такой тяжёлый, чёрный – говорили, что туда добавляется торф. А в другой булочной хлеб был более светлый и лёгкий – говорили, что в него добавляется целлюлоза, и поэтому его получалось как бы больше. Ну, то есть, пайка-то была одна и та же, сто двадцать пять грамм, но, из-за того, что он был лёгкий, его по объёму получалось больше. А того, тяжёлого, получался совсем крохотный кусочек… но зато, когда его ешь, им наедаешься. А вот этот лёгкий, хотя его было больше, но его съешь – и ничего не чувствуешь…

 У моих родителей был друг, Николай Фёдорович – он был морской офицер, служил на канонерской лодке, которая стояла на Неве… ну, то есть, вмёрзла в Неву, прямо напротив Академии Художеств. И ещё он преподавал в училище Фрунзе, и я приходила к нему туда, в училище, на проходную, и он выносил мне в баночке свой суп… А иногда он приходил к нам домой, и приносил мне кусок хлеба, намазанный маслом и посыпанный сахаром – такое вот пирожное… Его сын был на фронте, а жена – в эвакуации. И он часто приносил мне книжки почитать – «Принц и нищий», «Рикки-Тикки-Тави», Рабле… А однажды зимой он зашёл к нам с одним мальчиком, Митей – они жили в одной квартире. Смешной такой мальчик – чёрный, худой… один нос торчит. Сидел, молчал всё время… смешной.

 А в марте мама устроилась работать в детский сад, воспитательницей. Хотя, она уже очень плохая была, выходила мало… носила отцовскую одежду, потому что холодно было очень… ходила с лыжной палкой, чтобы не упасть… Но одна наша знакомая, Павла Игнатьевна, она была учительница, и вот она велела маме прилично одеться, отвела её в РОНО, и её взяли работать воспитательницей в детский сад – недалеко от нас, на Восьмой линии. А я к ней туда приходила… *(усмехается)* и однажды я очень испугалась. Я пришла к ней в детский сад, и услышала, как читают «Бородино» Лермонтова… и я его не узнала… я его в школе как-то пропустила, или… ну, короче говоря, не узнала. И вот я вдруг слышу: «Когда б на то не божья воля, не отдали б Москвы…» И я испугалась страшно: «Разве Москву немцы уже захватили?!. Разве Москву уже отдали?!.» А то, что там французы… как-то я это пропустила мимо ушей. А спросить стеснялась… Я т а к испугалась!.. Но, потом уже, всё-таки, спросила у мамы, она мне объяснила…

 Но вот один случай был по-настоящему страшный – это было уже летом. Мама обычно гуляла с детьми в скверике на углу Восьмой линии и Большого, там есть такой скверик... и вот как раз я к ней пришла, они там гуляли, а она сидела на скамейке… и тут начался обстрел. Все дети обученные, конечно – сразу в подворотню, и мы вбегаем следом за ними, и мне прямо в спину горячая волна как ударила!.. и стёкла сзади посыпались… Но мы успели забежать в эту подворотню – а там был Госбанк, кажется, и мы прямо в дверь туда, на лестницу заскочили… А когда обстрел кончился, мы вышли, и видим – на том самом месте, где мама только что гуляла с детьми… огромная воронка. Снаряд попал прямо туда. И после этого мама решила, что – всё, хватит, надо эвакуироваться. Хотя, тогда полегче стало, тогда от голода уже не умирали – и лето было, и по карточкам прибавили немного, и мама уже работала… И ещё мы весной огород посадили – мы завели маленький участок на станции Бернгардовка, она недалеко, и… тоже оказалась в кольце, при Ленинграде, и вот мы туда ездили в выходные. Мама там что-то посеяла – морковку какую-то, ещё что-то… но, главное, мы там траву собирали – салат из пастушьей сумки делали, очень вкусный, и другие всякие травы… Мама всегда увлекалась ботаникой, и тут её познания очень пригодились: она знала, какие травы можно собирать, какие нельзя – а многие собирали и ели всё подряд, и потом травились… Ну, то есть… хотя, конечно, есть хотелось всё время… но с голоду мы бы уже не умерли. Но, всё равно, после этого обстрела мама уже окончательно решилась на эвакуацию.

 Мы уехали двадцать пятого июля, я этот день очень хорошо помню. Через Ладогу, через эту самую… Дорогу Жизни… Мама перешла работать в детский дом, и вот вместе с ним мы и эвакуировались. В нашей школе… в пятой школе, на Пятой линии, около Большого проспекта, я как раз там до войны училась… там организовали детприёмник – туда собирали детей, у которых все родные умерли. И вот их там собирали, сортировали по возрасту, формировали из них детские дома, и потом сразу эвакуировали. Детский дом – сто человек. И вот их отправили на Финляндский вокзал… и чтобы никто из детей не потерялся, у них на одежду были пришиты такие тряпочки: «Семьдесят четвёртый детский дом Васильостровского района»… И туда же, на вокзал, приехали все сотрудники этого детского дома, которые до этого друг друга в глаза не видели – воспитательницы, нянечки, поварихи… вот как их набрали, по списку – и прямо на Финляндском вокзале они и познакомились… и мама там, среди воспитательниц, встретила свою знакомую, Камиллу Иосифовну, с сыном, Андрюшей… Школьников там было всего несколько человек – ну, то, есть, мы, дети сотрудников… а детдомовские дети были… ну, где-то… четырёх-пяти лет… но они были такие истощённые, что няньки, сами – блокадные… брали их по двое и несли в вагон… И вот мы загрузились в эти вагоны… обычные такие, плацкартные вагоны… и поехали до станции Борисова Грива. Мы туда приехали ночью, темно уже было… там нас посадили на баржу, спустили прямо в трюм… и мы поплыли. Плыли ужасно – духотища была жуткая, и качало сильно, детей сразу начало укачивать, их рвало, они ревели… Но потом пришла мама, и вывела меня на палубу. На палубе был свежий воздух, огромное тёмное небо, всё в звёздах, они так… качались над головой… я ни разу в жизни не видела таких звёзд!.. и прожектор*а*. Чёрное небо – и наши прожектора… они охраняли Дорогу… А потом мы целую неделю ехали в поезде – вагон был такой, специальный, для раненых… санитарный вагон – там все верхние полки были соединены между собой… и вот детей на них уложили, и они там спали… Сначала говорили, что нас везут в Сибирь, но потом обстановка на фронте изменилась, и нас привезли под Москву, в Переславль-Залесский. От станции мы ехали на автобусе – в нём были сняты все сиденья, и нас просто посадили на пол. А на полу были постелены листы фанеры, и дорога была грунтовая, вся в ямах, и эти фанерины разъезжались от тряски, и было очень страшно – было видно дорогу в эти щели, и я боялась, что сейчас всё разъедется, и мы туда упадём… И вот так вот мы ехали семнадцать километров… А там нас поселили в школу – один класс застелили матрасами, и туда уложили всех детей; а в другом классе поставили длинные такие скамейки, и на них ставили мисочки с едой, а сами дети сидели на полу – это была как бы столовая. Но наши нянечки сразу поразили местных жителей – они так отдраили эти полы, что на них, действительно, можно было и спать, и есть… И вот там мы жили до первого сентября – а потом уже нам отдали помещение швейной фабрики, и там мы три года прожили… То есть, не мы, а детский дом – а мы с мамой снимали угол, у местной учительницы. А у неё была эта «тарелка» чёрная, репродуктор, и его не разрешалось выключать, ни днём, ни ночью – и я тогда просто возненавидела классическую музыку, потому что она играла всё время!.. Либо были последние известия, что было интересно – либо эта музыка орала на всю катушку. И только в двенадцать часов она прекращалась, и уже можно было заснуть. И вот восьмого мая всё было точно так же, мы легли спать… и вдруг в три часа ночи радио заговорило – Левитан… И мы с мамой вскочили, разбудили хозяйку, оделись и побежали в детский дом. До него было где-то… две трамвайные остановки – ну, то есть, там никаких трамваев не было, конечно, это я по ленинградской привычке так меряю… По дороге забежали к директрисе, её подняли, прибежали в детский дом… ну, и в общем, устроили всеобщую побудку – «кончилась война, победа, победа!..» И на другой день мы не пошли в школу… а всех детей повели гулять в городской сад, строем… и откуда-то взялись военные, на грузовиках, они торжественно ехали по городу, и дети им кричали «ура!»…

 И мы стали думать, как нам вернуться в Ленинград. Хотя, вообще-то, возвращаться не полагалось… Но мама исхитрилась, чтобы не поменять паспорт – он менялся каждые пять лет, и вот она исхитрилась его не поменять, чтобы сохранить ленинградскую прописку. Она его как-то продлила… оформила себе какую-то командировку… и поехала в Ленинград, чтобы узнать, что там с нашей комнатой, и можно ли вернуться. Наш дом уцелел, его не разбомбили, но мастерскую уже занял один… известный советский художник… мама довольно хорошо его знала, и поэтому даже не стала пытаться её вернуть. Так что мастерской мы лишились, у нас осталась одна только маленькая комнатка… но, это уже не важно – главное, что мы вернулись. В августе мы вернулись в Ленинград.

7. ВАСЯ

 Пехотинец, гвардии сержант, 19 лет, одет в военную форму, на груди – медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», и знак «Гвардия»; ставит на стол две банки американской тушёнки.

В а с я. Я на фронт добровольцем пошёл, в семнадцать лет. Я ведь рослый… метр восемьдесят три. И вот нас, шестнадцать парнишек таких же, рослых, отобрали со всего района, вызвали в военкомат, положили перед каждым лист бумаги, ручку с пером, чернильницы поставили, эти… непроливайки… Вышел капитан: «Пишите: я, гражданин такой-то такой-то, желаю вступить в ряды Красной Армии для разгрома фашистских войск. Кто не хочет – не подписывайтесь, а кто хочет – распишитесь». Ну, что ты!.. куда там!.. Мы по пять подписей тебе поставим – лишь бы взяли… Мы ж – рвались!.. Ну и всё, потом собрал он эти все заявления, и говорит: «Езжайте по домам, и ждите повестку». Ну, я и поехал в свою Князевку… а через несколько дней мне повестка пришла. А до района-то – сорок вёрст… и вот, на другой день наша соседка на телеге повезла меня в район. Весь день ехали – дорогу-то развезло, и дождь и дождь, и дождь и дождь… это ж октябрь месяц был. Октябрь сорок третьего… Ну и опоздали мы в военкомат – да там все опоздали… наутро пришли туда, вышел какой-то лейтенант: «Вас расстрелять нужно! Вы дезертиры! Вовремя не явились!..» Ну, потом, всё-таки, документы нам оформили, и говорят: «Дуйте в Балашов. Как вы будете добираться – не наше дело…» Ну, мы и пошли до станции пешком – пятнадцать кил*о*метров; там залезли на платформу с углём… а холодно, дождь, мы в этот уголь зарылись… Так в Балашов и приехали. Идём по улице, и не поймём – чё такое, все на нас смотрят… потом уже поняли – мы ж чёрные, как черти!.. мокрые, да в уголь залезли… Пришли в военкомат, нас сразу в баню… потом на пересыльный пункт направили, а там уже нас определили в снайперскую школу. Ну, там из нас не то, чтобы снайпер*о*в готовили – там нас учили точно, прицельно стрелять… ну и, всему остальному. Месяца два, что ль, мы там проучились… там я и присягу принял… и оттуда нас отправили на фронт – в Белоруссию.

 Привезли нас в часть – лесок, поляна… Ну, тут старые солдаты с нами перезнакомились: «Меня – дядя Гриша, меня – дядя Коля…» А тут повар кричит: «Ребята, берите котелки!» Он знал, что пополнение придёт, и уже сварил для нас – пшённую кашу с американской тушёнкой… вещь, я тебе скажу!.. О-ой… Ну и вот мы гуськом выстроились к нему, он черпаком накладывает, а я третий стою, смотрю: он черпак бух! в котелок – тот отошёл; он следующему – бух!.. Я думаю: это что же, на одного, что ли?.. И мне он бух! – полный котелок… Я говорю: «Дяденька, а это на одного мне?» – а он: «Ешь, сынок, и ещё подходи!» И вот тут мы: «Ну-у, воевать можно!..» *(усмехается)* – наелись каши с мясом… Нас, вот из этой снайперской школы, восемьсот человек на фронт ехало. А через месяц от нас… ну… десятки остались.

 В снайперской школе – там что, там одна теория была… а вот на фронте, там настоящая школа началась. Был там такой дядя Юра Коваленко – учил меня человек… всему научил. Украинец, ему уж за сорок было… добрый такой!.. Вот есть такие украинцы-мужики… вот, он такой был: добрый, хороший… Он меня всё время предостерегал: «Не высовывайся, не гляди, наглядисся, ещё война не скоро кончится, так что наглядисся, а щас не вылазий, не высовывайся!..» А мы ж как пришли, нам сразу всё хочется увидеть и узнать… Вот он меня первое время всё наставлял: «Лежи, а голову не высовывай, а если высунулся, то потом уже с другого места выглядывай – а где ты показался, там уже больше не показывайся: снимут». Если б не он… э-э!.. *(Отмахивается. Тяжело вздыхает.)* В Польше, под Белостоком, его убило… не знай – через меня, или как… Нас тогда врасплох захватили, мы там окопались, кто где, и сидим, каждый в своём окопе… а у нас с ним банка консерв была на двоих, и вот он мне говорит: «Вась, открывай банку, давай поедим…» Я открыл, говорю: «Ну, иди», – и гляжу на него. Он вылез из окопа, и ползёт – и только он из-за бруствера показался… ему щёлк! снайпер *(тычет пальцем под сердце)* – прямо сюда, и он: «А!» Я выскочил, и к нему, в окоп его затащил… и как меня тот снайпер не подстрелил? Не знай… Он лежит у меня на руках, говорит: «Вася, у меня в правом кармане письмо и фотография – отошли, пожалуйста, жене…» Я не успел ничего сказать – смотрю, у него глаза уже… *(Шмыгает носом.)* Вынул фотографию, там две девушки сидят: одной, наверно, лет шестнадцать, другой лет восемнадцать – дочери его… и жена.

 Тяжело там было, в Белоруссии – попали мы в болотистую местность… копнёшь – а там вода. Трое суток, я помню, в воде лежал… две-три атаки мы сделали, а немцы – на возвышенности засели, пулемётами нас встречают… прямо – режут!.. Потом уже командиры сообразили, чего понапрасну людей губить – и ночью отвели нас оттуда… Вот там, конечно, тяжело было. Хотя… везде бои были тяжёлые – лёгких боёв, их не было. Хоть атака тебе, хоть оборона… Вот сидишь ты в траншее, у тебя, как говорится, всё на мази, всё готово… автомат лежит… и тут кричат: «Немцы наступают!» А они как наступают – пускают вперёд танки, за танками идёт пехота. Мы гранаты бросаем, тут рядом из противотанковых ружей стреляют… бывает, что и подобьют… Танки проходят нас, и кто в траншеях уцелел, отстреливает пехоту. А если одна пехота идёт, то ты слушай командира, без толку не стреляй… подпускай и жди, а когда он даст команду «Огонь!» – тогда уже только ты стреляешь… А хуже всего – это когда идёшь по лесу, и думаешь: вот сейчас в тебя резанут из пулемёта, и всё… И вдруг – этот пулемёт… только в другой стороне. Кто-то попал, из твоих товарищей – но, не в тебя… А ты: раз-раз, обнаружен противник – и всё, и началось… И вот так вот – сегодня один, завтра другой…

 На войне никогда не знаешь – где, когда… Бывает, высоту берём – и, ничего, живой… а бывает, из бани идёшь – и тебя хлоп!.. А что, мы ведь на фронте и в бане мылись. Дают команду: «Ваше отделение сейчас отходит в тыл, в баню». И всё, мы гуськом по траншеям уходим – там стоит вагон… заходишь, всё снимаешь с себя, ремнём связываешь, и отдаёшь – на прожарку. Сам голову просунешь, тебя обстригут всего… вшей-то у нас много было, это да – вши были… ой, какие!.. Дальше проходишь, там душ, соск*и* эти – мыла кусок тебе выдают, ты намыливаешься, моешься… Потом с другой стороны заходишь, и своё всё назад получаешь, уже прожаренное… И вот мы из бани шли как-то, и вдруг – обстрел. А там сарай какой-то стоял, и мы раз – за этот сарай… а один у нас кинулся бежать через поле. И мы смотрим – куда рука, куда нога… прямо под ним снаряд разорвался. Вот так вот и сходил в баню…

 А из Белоруссии нас в Прибалтику перебросили, на Третий Прибалтийский фронт. И вот я эту Эстонию, Латвию, Литву… всю Прибалтику на коленках прополз. Ригу освобождал… Вышли мы к ней, а там река, эта… Даугава, она прямо посреди города протекает, и на этом берегу Старая Рига, а на той стороне – Новый город, они так его называют… Немцы там крепко засели, их оттудова выбивать надо было. И тут нашу часть сняли, и кинули на семьдесят кил*о*метров в сторону: там окружили группировку немцев, и туда нужна была наша подмога. И вот мы эти семьдесят кил*о*метров прошли – за сутки. Никогда в жизни у меня такого не было: идёшь, вот так вот *(протягивает вперёд правую руку)* за товарища, за ремень держишься… и спишь. Идёшь – и спишь. И сны видишь… И вдруг – бултых!.. Там по кюветам вода стояла – дело-то осенью было… и вот прямо в воду падали, просыпались… и дальше шли – при полной нагрузке: и оружие, и боеприпасы на тебе, и вещмешок… всё на плечах.

 Потом опять – Первый Украинский фронт: всю Польшу пешочком прошёл, до самой Германии. Мы по Польше шустро шли, за нас авиация работала, путь нам прокладывала, и мы шли – пехота… танки даже отстали. Но, потом они нас догнали… Варшаву я освобождал… Там у них Висла, река – ну, это как у нас Волга. Ну, река есть река, надо перебираться как-то на ту сторону… И вот мы двинули туда, ночью – кто на плотах, кто на лодках… и тут нас как начали обстреливать!.. Я-то хоть плавать умел – а были, кто и не умел даже. Ну, кто уцелел, выбрались на берег – и вперёд!.. Это называлось… Сандомирский плацдарм – он, где-то, кил*о*метров тридцать был в глубину. Мы его захватили, этот плацдарм, а дальше уже сил нет… дальше уже не можем наступать… Надо было остальных подтянуть – которые там, за Вислой, остались. И вот мы там чуть ли не месяц пробыли – пока командование прорыв готовило… Ну а потом уже – пошли в наступление. Сначала – артиллерийская подготовка: в траншее стоишь, а под тобой вот так вот земля ходит, ходуном. А потом, по сигналу красной ракеты – вылазь, и шпарь: стреляй, бей, коли!.. и всё такое… Там уже мы двинули!.. Так двинули, что где-то за четырнадцать дней… ну, больше, чем пятьсот кил*о*метров отхватили. И у нас всё отстало – все обозы, все продукты, боеприпасы, всё отстало…

 А в Германию мы зашли – без боя, безо всего… командир нам только границу показал: «Вот это, – говорит, – граница, пограничный столб. Всё, Польша кончилась, дальше уже пошла Германия…» Ну и пошли мы по Германии… если можно сказать – «пошли»: день воюем – ночь отдыхаем, день воюем – ночь отдыхаем... Немцы, конечно, очень сопротивлялись… за каждый населённый пункт – бои… Заходишь в город, там уже танкисты… и город горит, весь. Он не соломенный, не деревянный – весь каменный, кирпичный!.. и весь горит. Там, в нём, как в жаровне, в этом городе!.. Там потери большие были... много у меня там друзей-товарищей погибло…

 И потом под Одером немцы нас как начали долбить – и авиация, и танки, и всё… и вот там меня и ранило. Там уже леса, леса пошли, и вот мы только из леса вышли, на нас самолёты как налетели… и мне из пулемёта, из крупнокалиберного, в правую ногу ка-ак шарахнуло… *(поглаживает правую ногу от щиколотки до колена)* во всю ногу, тут мясо одно было… Да не меня одного, нас там тринадцать человек ранило. Врач нас осмотрел, говорит: «Их с собой брать нельзя, их надо оставлять». А там как раз ферма стояла, и там фермер жил, немец, а у него – поляки в работниках… ну, это мы уже потом узнали. И вот оставили нас у этого фермера, а ему сказали: «Не дай Бог с ними что случится – вернёмся, и всю семью расстреляем». А у него семья большая… И вот наша часть вперёд ушла, а с нами двух санитаров оставили. Они над домом вывесили красный крест, чтоб видно было, что здесь раненые лежат… Фермер этот, немец, нам в зале настелил перины, матрасы, нас на них уложили… ночь наступила, мы уж спали, кто мог… и вдруг санитары залетают: «Ребята – н е м ц ы!..» Ну, тут все вскочили, кто как может… а оружие наше с нами оставили, и вот мы – кто к окну, кто к двери, кто куда… оборону заняли, ждём… А санитары шмыг – и нет их. Мы думаем – ну, всё… удрали санитары. Но нет, вернулись они потом… И тут выясняется, как дело-то было: они пошли к этому немцу, к фермеру, там у него четыре дочери, и вот они у них там сидели, угощались, и тары-бары с ними, как могли… и вдруг заходят немцы с автоматами: «Хенде хох!» – на них… Фермер этот сразу кинулся к немцам, а жена его – санитаров наших потащила в другую дверь, и чёрным ходом их вывела. Фермер этот, видать, упросил немцев, и они ушли. Фронт-то быстро шёл, многие немцы в лесах остались, и вот они там бродили, неприкаянные – которых окружили, которые сбежали… да многие немцы уже и воевать-то не хотели… Но мы, конечно, всю ночь так с оружием и просидели, спать не ложились. Тут день настал, мы думаем – чё делать, опять ночи ждать? Санитары с фермером поговорили, он дал нам две фуры – здоровые такие… лошадей дал… и мы поехали госпиталь искать. И эти, поляки с нами поехали: «Всё, – говорят, – Гитлер капут, мы здесь больше не останемся…» И вот едем – всё лес и лес, и лес и лес… конечно, жутко – мы ж знаем, что лес этот полный немцев… Выехали – какой-то посёлок. Подъезжаем – и тут санитары наши закричали: «Э, ребята – медсанбат!.. Вона – красный крест…» А это и не медсанбат – это полевой госпиталь оказался… повезло нам. Меня ведь как ранило, мне санитар прямо там замотал бинтом ногу, всю – мясо, кровь, всё замотал, и я уже трое суток лежу с ним. А полевой госпиталь, он обязан – обработать рану, всё очистить, зашить, перевязку сделать, всё… и отправить дальше, в тыловой госпиталь. И вот подходит Зоечка-медсестричка ко мне и говорит: «Ну чё, жених, пойдёшь?» – «Куда – «пойдёшь», у меня ж нога…» – «Ну ладно, терпи…» Заваливает меня на плечи… а сама – ну, с пол меня!.. и понесла. Принесла, на стол хирургу скинула, тот поглядел – на меня, на ногу… Ну что – пацанчик лежит перед ним, а нога… он постукал, а она гремит – всё засохло, надо всё снимать, всё сдирать, а это ж муки-то какие… И он: «Ты водку пьёшь?» – на меня… А я ему: «Немножко…» Он: «Так, Зоя – наливай ему полстакана… и водички добавь». Она спирту полстакана налила, водички добавила… А он: «Пей – но только чтоб всё выпил!..» Она мне голову держит, стакан… я пью, пью, пью… и чувствую, что я уже валюсь, валюсь… и всё, и ничего больше не помню... Потом она меня: «А ну-ка, пьяница, просыпайся!..» Они мне ногу уже очистили, перебинтовали, всё… Тут другая медсестра подошла: «Всё, поехали в палату…» – уложили на носилки, и вдвоём отнесли меня туда. И нам сказали, что через два-три дня мы вас в тыл отправим. И, правда: через три дня нас в грузовые машины на носилках положили, и повезли – в Польшу; и вот там, в городе Лодзь я и лежал в госпитале. Два месяца я там лежал… Там, в госпитале, какая-то… совсем другая жизнь была. Мы ж молоденькие были, а тут – медсёстры… такие же, девчонки… Не, ничё такого, дурного у нас не было, ничё… а мы как-то так вот… хорошо так общались друг с другом… Там и концерты были, и кино показывали, и всё… Ну, совсем другая жизнь!.. А потом меня выписывают – ну и… на фронт. Комендант мне направление выдал, и всё – ехай, разыскивай свою часть. Вышел я на дорогу, а там такое месиво!.. Как говорится – чёрт голову сломит… Фронтовая дорога, это что? Одни оттуда, другие туда, третьи в сторону!.. Как найти свою часть? И вот я из Польши… и только уже в самой Германии я нашёл своих!.. Сам удивляюсь: и как я в такой катавасии разобрался, и доехал куда нужно?.. Недели полторы ехал: где на поезде, где пешком, где на машинах попутных… А это – так: только руку поднимешь – любой тебе остановится… свой же солдат же за рулём… Но, вот, умное дело было сделано: на дороге – указатели: «Хозяйство Сидорова» – и стрелка. А Сидоров – это, значит, командир части. И вот: «Хозяйство такого-то», «Хозяйство такого-то»… и ты к перекрёстку подошёл, и смотришь: а где же твоё-то хозяйство? А-а – вот… И так вот я и нашёл свою часть. Командиров моих там уже не было – кто погиб, кто ранен, его в госпиталь отправили… Но, из солдат кой-кого я встретил. Правда, вот, после госпиталя тяжело мне было… недели две я привыкал опять. Ни есть, ни пить неохота, больной какой-то ходил, всё мне чё-то как-то… и страшно мне было!.. Я как на фронт ушёл, я ведь ни разу под настоящей крышей не ночевал – только в траншеях. Землянка – это в лучшем случае, а то – траншеи, траншеи, траншеи… там и спишь, там и воюешь, там всё… А тут – госпиталь… Но, ничего, через две недели опять всё вошло в свою колею, и всё – про всё забыл!.. Те же траншеи – это ж не просто так, сиди и жди, чего тебе там… Даже если недолго в траншее сидеть, всё равно, жильё себе оборудуешь: делаешь подкоп… раскопал, лежанку сделал – и можешь там, как барин, отдыхать… только не ленись. А уж саму-то траншею не поленишься… выроешь, да быстро так – когда тебе скажут, что сейчас немцы в атаку пойдут, или что вот-вот обстрел начнётся… *(усмехается)* там только пыль летит!.. Ну а когда длительная оборона, то тогда мы уже землянки рыли. Ну, землянка, это что такое? Яму вырыли, сверху её брёвнами перекрыли, землёй их засыпали… потом второй накат кладёшь, брёвна уже поперёк идут… опять их засыпаешь, потом ещё накат… и сверху уже всё засыпаешь, сколько можешь засыпать. Вот и получается – землянка в три наката… И прямо из траншеи у тебя ход в неё. Старались потеплей сделать, чтобы нигде не продувало, ничего… это же понимать надо… Или вот – шинель. Шинель – это… невеста. Всегда с тобой – на неё лёг, ею же и накрылся… она тебе и матрас, она и одеяло… она и летом, и зимой, и в дождь, и в снег… всё, бедняга, выдерживала… А уж мы-то *(отмахивается)* – и подавно!..

 Да, и вот как раз, когда я с госпиталя вернулся, мы тогда в Германии концлагерь один освобождали… как же его?.. И не выговоришь, и не запомнишь… Ну и вот, значит, мы подходим туда, там десять рядов колючей проволоки, вышки… а немцы-то все уже разбежались… Внутрь зашли – там бараки, в бараках – нары… и эти сидят, в тряпье таком… полосатом. Всякие там – и молодые, и старые… Я за войну всякого насмотрелся – и то… смотреть страшно. Ну, потом они вышли, и там, прямо на поляне, на траве уселись… И мне там девчонка одна в глаза бросилась – моих лет, где-то… хотя, там и не разберёшь: у ней не лицо, а кожа и кости, и ручонки такие… аж все косточки видать. Ну, помирает она с голоду, я ж чувствую, что – помирает!.. И вот я ей всё, что у меня было в вещмешке, всё вынул и отдал – у меня там и сахар был, и сала кусок, и сухари… всё ей отдал. А она глазёнками чёрными смотрит на меня – а они у ней… бессмысленные какие-то, она и не поймёт, что произошло-то… А я ей говорю: «Это тебе, тебе – на, ешь…» Показываю – ешь, мол… А она смотрит. Да наши все там, у кого что было, всё раздали – давай их сразу откармливать, на месте… А потом наш главный врач приехал, майор, как начал орать: «Не давать ничего! Вы что, не понимаете, мать вашу?! Вы ж их убиваете!..» А мы что, понимали, что ли? Мы ж помочь хотели… Ну, тут кухни полевые подъехали – им там водички тёплой сладенькой развели, кашку жидкую сварили, начали отпаивать, туда-сюда… Вот это я, запомнил, конечно… девчонку эту. Как она смотрела-то на меня… *(Шмыгает носом.)*

 А дальше что – дальше… Шпрее. Это такая река не река… канал перед Берлином. Нужно его форсировать, нужно брать Берлин… Ну и всё, нагнали и лодок конфискованных, и всего… опять ночью штурм, опять катавасия, не знай, какая… мы – ударная группа, сто человек, наша задача – взять за рекой вот это здание, и быстро его взять… Ну, счастливые – до того берега доплывали… и брали. Другие – в другом месте где-то, третьи – сзади шли, на подхвате… Ну и так вот взяли мы, значит, Потсдам – там как раз вся эта сволотня сидела, все конторы ихние там были… А дальше уже – вот он, Берлин… И тут нас сняли, и шарахнули на Эльбу. Но, спасибо хоть, посадили на танки, и мы не пешком, а на танках – в сторону Торгау, это город там такой, на берегу Эльбы… А что, мы ведь с танкистами почти родня, мы нет-нет, да и на танках – танковый десант… Ну и вот, значит, осталось нам там восемь кил*о*метров до Эльбы. Но немец, гад, шпарит – дыхнуть нечем!.. Вот тут я как раз осколки в лицо и получил – мина разорвалась, прям около меня… меня оглушило, отуманило… Всё лицо было истыкано… *(трогает бровь)* и один вот, до сих пор возле глаза сидит, его тогда врач и трогать не стал – побоялся, что глаз заденет… Ну вот, а командиры ходят, говорят: «Ребята, ребята, ещё немножко поднажать надо, ещё чуток – восемь кил*о*метров до Эльбы, а там уже американцы!..» Ну и тут поднатужились, собрались, артиллерией шарахнули, крепко так… ударили… и вышли на берег Эльбы. А там!.. Боже ж ты мой, чё там творится… И танки, и самоходки, и грузовики, и машины всякие – все в воде. И тишина – муха пролетит, услышишь… И ни одного немца – никого нет. А ведь только что, гады, стреляли!.. Потом мы уже узнали, что они всё побросали, и удрали к американцам – в плен сдаваться. У них лодки подготовлены были, моторные – они отстреляли, сели, и удрали. Ну и чёрт с ними!.. «Давай, ребята, шуми сильней, американцев зовите!..» Там водонапорная башня стояла, и один полез туда, на башню, с флагом с красным – флаг повесил… а мы ракеты пускаем, шумим… бесполезно. Ни звуку с того берега. Да что ж это такое?!. А сказали, что там американцы… Ну, плюнули, и всё. Расположились прямо там, ночь уже, спать легли… и вдруг в четыре утра – что такое?!. Стрельба со всех видов оружия: и с автоматов, и с пулемётов, и с винтовок… И тут: «Ребята, вставайте, война кончилась!.. Только сейчас передали, что немцы подписали капитуляцию!..» Ну и тут пошло и поехало… тут ой-ё-ёй, чё творится!.. Я уж немного воевал – ну, сколько… около двух лет… но, как-то уже вот в мозгах было… отрешение какое-то. Я и не думал – останусь я живой, не останусь… ну и, не боялся. И кого не спросишь – а!.. *(Отмахивается.)* И всё… Состояние было какое-то такое… наплевательское на жизнь. А тут, когда война кончилась – все, ну буквально все как-то переменились… лица, лица другие стали!.. У нас лица-то какие были – ну вот, когда к смерти человек готовится… ну, мы-то не готовились – но мы понимали, что не выжить нам. И тут вдруг… ты выживаешь. Совсем лицо другое у человека!.. «А!.. Это чё, я жив?!. Ё-ё, я жив…» Обнимаемся, целуемся – ой!.. *(Отмахивается, шмыгает носом.)*

 А чё же американцы?.. Солнце встаёт, смотрим – чё-то там возятся, на том берегу. Ага… Раз – мотор запустили, идёт одна моторка оттуда, вторая, третья… подъезжают – американцы. Негры – здоровые такие!.. У нас тут переводчик нашёлся, мы их сразу: «А чё ж вы – вчера-то?» И тут выясняется: наши «катюши» как начали шпарить, они тут же и отошли, на сколько-то там кил*о*метров, чтоб наши «катюши» их не задели. Американцы, они ведь – ой-ё-ёй!.. Они сами очень воевать-то не любят. Они сначала всё с лица земли сравняют – авиацией, артиллерией… и когда уже там никого живого нет, тогда они только пойдут. Вот они как людей-то берегут – у них поучиться надо… А тут – наши «катюши»!.. Конечно, они и отошли – от греха подальше… Ну и тут гуляли мы три дня: они к нам ездили, мы к ним… угощали, угощались… Приезжаем, у них столы накрыты: «Аа-э!.. Рашин!..» Давай часами меняться на память, фотографироваться вместе… Выпивали, закусывали, плясали, песни пели – мы на своём, они на своём… ну и, всё такое… Нормальные ребята – да такие же, как и мы!.. Три дня это продолжалось – а потом всё, стоп: никого от них – никого от нас.

 И всё, и нас тут же в Берлин перебросили… А Берли-ин!.. Я за всю войну ничего похожего не видел. Да и не нужно никому этого видеть… По Берлину не то что – на машине… пешком там не пролезть было, как его разворочали. Вот так вот… Но, главное, немцы, они уже… вот, буквально сразу, как бои закончились, они давай город расчищать: в ц*е*почки становились, и друг другу передавали – кирпичи, камни, всё… Прямо на глазах расчищают!.. Мы ж там долго ещё стояли… границу устанавливали… так что я насмотрелся на них, на немцев-то. Вообще, они… народ хороший, немцы – ну, вот, как народ их если брать, то… по мне, так и… ничего, вроде… хороший народ.

 И вот тогда-то я как раз и… сглупил. Ой, сглупи-ил!.. Тогда уже Парад Победы готовился, на Красной площади, и от нас должна была идти парадная коробка, шестнадцать на шестнадцать... ну, человек… и отбирали туда – не ниже метр восемьдесят. Ну, а я-то – метр восемьдесят три!.. Вот я туда и попал. И нас месяц гоняли-гоняли, гоняли-гоняли… и днём, и ночью… и у меня открылась рана на ноге. Я потерпел немножко, а потом пошёл в санчасть – ну, ничё ж не соображал… А там майор – посмотрел: «Э-э, милый, ни на какой парад ты не поедешь!..» И всё, меня тут же и заменили… А я и рад до смерти – ну, дурачок!.. Сейчас-то жалею, конечно. Я ведь одной ногой был на параде!.. *(Усмехается.)* Да вот, другая подвела… Эх!.. *(Отмахивается.)* Ничё… нормально всё… *(Кивает.)* Нормально… *(Улыбается.)*

8. СЕРЁГА

 Связист, гвардии старший сержант, 22 года, одет в военную форму, на груди – медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», и знак «Гвардия»; ставит на стол бутыль венгерского вина и несколько стаканов.

С е р ё г а. Я первую бомбёжку хорошо помню… После школы я в лётные мастерские пошёл работать, у меня бронь была – там у нас был комиссар мастерских, он сказал нам так, что если кому придёт повестка, не ходите ни в какой военкомат, повестку несите мне, никуда вы ни на какой фронт не поедете. А у меня тогда уже брат был убит, Андрюша, там… пятое-десятое… и я думаю, чё я буду сидеть?.. Ну, я и не отдал повестку, пошёл в военкомат, и меня сразу направили в это, в военное училище связи. Это уже сорок второй год был... Ну, обучили нас там чему надо, экзамены мы сдали, по службе связи, старшего сержанта всем присвоили – и на фронт отправили. Погрузили нас в вагоны, и поехали мы… я там впервые закурил, до этого и не курил совсем… И вот, доезжаем, значит, до станции Отр*о*жки – выгрузились мы там, расположились, лежим, кашу варим… И тут я смотрю – самолёты летят, четыре штуки. Ну, я думаю: летят – чай, отбомбились… А потом пригляделся – чё-то от них падает, от самолётов-то… А у нас там Сашка Киняев был, с Кирова, ну, он мужик постарше, он уже на фронте побывал… И я ему говорю: «Саш, глянь, он чё-то бросает…» Он как глянул: «Бомбят!..» А ту станцию уж сколько бомбили, там всё в воронках было – и мы, значит, бегом в эти воронки залегли, я в землю прям… зарылся!.. Как эта первая бомбёжка прошла, вообще не помню – лежал отключённый. Потом, когда уже кончилось, пришёл в себя, смотрю – ёлки-палки… все чё-то орут, вагоны кверх ногами, рельсы в дугу… там руки, там ноги валяются… Из тех, с кем я кашу варил – никого в живых нету. Я один остался… Ну, собрали нас, переформировали – и послали Воронеж брать. Там у меня первый бой был – и там же я сразу три осколка в бок получил. Мы на горку лезли, а у него там танки были закопаны, он и стрелял, как хотел – одну башню видно только, она вертится, а самого не видно, вот он и долбит нас, как хочет… И вот лезем, близко уже подлезли, и я смотрю – автомат стреляет; а потом он автомат убрал, и я думаю: ага, обойму меняет – сейчас я его на мушку возьму, он только автомат выставит, я его и прикончу… Высунулся, и только вижу – рука махнулась вот так… и прямо передо мной метрах в шести взорвалось… граната… и мне бок этот как обожгло весь!.. Три осколка мне в бок пришло – два сразу вытащили, а третий был тут вот, его и не заметили, он и зарос, и сейчас вот тут торчит…

 Ну, потом пошло уже – Курск, Белгород… Потом на Украину – Полтаву брали, Харьков, Кременчуг… всю Украину прошли. Потом в Молдавию… потом в Румынию вошли. Форсировали Прут, потом дошли до реки С*е*рет… *(Усмехается.)* Шутка такая была: «Русские на Прут, а немец на С*е*рет…» А потом нас перебросили в Польшу, на Сандомирский плацдарм… Ченстох*о*в мы брали… И потом – первый немецкий город, Розенберг, прямо на границе… Там стоял обелиск такой – орёл этот фашистский, здоро-овый, крылья размашистые у него, весь позолоченный, и в когтях эту… свастику держит. Мы его взорвали-расстреляли, орла этого, на осколки его!.. А потом пошло-о… Бреслау – два месяца брали; там заводы подземные, страшное дело… сколько там народу полегло, о-ой!.. Вот сам не понимаю, как я живой остался. Ведь, и дураковал-то как!.. А всё равно живой. Тут – чистое везение... Помню раз, приехали три танка, а мы на пригорке были, в окопах сидели. Я спрашиваю: «Ребят, у вас курить есть?» – они говорят: «Вон, люк открытый, там кисет лежит, и спички, бери…» Я только вылазить, а там один, с Саратова… эх, забыл его фамилию… говорит: «Да сиди, я сбегаю!..» Подходит к танку – и мина падает ему прямо между ног. Даже хоронить нечего было…

 А вот дороги у них там, это да… автострады эти немецкие, автобаны, которые Гитлер построил. Мы тогда уже до Берлина дошли, и там перед взятием Берлина накапливались танковые армии, и вот я смотрю – танки идут, идут, а танкисты молодые все ребята были, он как гари даст, из-под гусениц аж огонь летит; ну, думаю, всё, конец автобану ихнему… А наутро пришёл, смотрю – ничё, какой был, такой и остался!.. Но, я-то Берлин не брал – нас под Прагу перебросили… Такой город красивый, ну такой красивый!.. Я там и на Карловом мосту был, и везде… красотища страшная. И Дрезден тоже – видать, что красивый был город, только его ещё до нас весь союзники разбомбили; разруха там такая была, что ты!.. Но, я там чего запомнил – там церковь одна была, большая, и там купол у неё, и он сделан был из таких металлических… ну, как бы ребёр… и вот он весь обрушился от бомбёжки, и только несколько этих рёбер осталось, и на них, на самом верху, не пойми как – ангел сохранился, и вот смотришь на него, а эти рёбра узкие, их и не видно, и, когда ветер сильно подует, кажется, будто ангел летит, и крыльями махает… Все на него смотреть ходили, корреспонденты там… фотографировали… Вот, запомнилось, почему-то, не знаю...

 А конец войны… это я был уже во Франкфурте-на-Одере. Только у нас победа была не девятого, а восьмого мая – это потом уже стали девятого праздновать… Ну, как узнали – заорали, давай стрелять, пятое-десятое… все счастливые такие, что ты!..

 Ну вот, и потом меня в Венгрию направили, комендантом – там городок небольшой, Н*а*дьмарош, тридцать километров от Будапешта, и при нём восемь сёл. Ну и, значит, принял я командование, у меня солдат тридцать человек… И вот за всё время, что я был там комендантом, у меня – никто никого не убил, никого не изнасиловали, не ограбили, не избили… даже драки ни одной не было!.. Переводчика я себе сразу хорошего нашёл, Николая… Я ж, как приехал, по-венгерски ни слова, только по-немецки там… кое-как, ещё со школы… и вот мне доктор местный говорит – мол, есть у нас один русский, Николай, давно у нас живёт, поговори с ним, может он тебе поможет. Ну, я его нашёл, попросил, он и пошёл ко мне переводчиком. А он, Николай этот, он из Италии приехал, познакомился тут с одной девчонкой, ну, там, влюбился, пятое-десятое… а её родители её с ним не пустили, сказали – хочешь с ней жить, оставайся с нами. У них там завод был винодельческий свой, кроличья ферма… ну, он и остался. А в Италию он попал… у него отец – царский полковник, он бежал вместе с белыми, с донскими казаками, и вот в Италии они обосновались, там… на севере, и жили все.

 И вот, значит, стал я комендантом… а там перекрёсток такой, и вот на одном углу моя комендатура, а на другом – дом, где Марг*и*та жила. Большой у них дом был – восемь окон на одну улицу, семь окон на другую… и прямо за ним – Дунай. Красотища!.. Ну, мы и ходили – купаться там… и вообще… Так и познакомились. Она молоденькая была совсем… а я уже по-венгерски немножко знал… ну и так, в общем… туда-сюда, пятое-десятое… ну и, любовь у нас, в общем… А я – вот хошь верь, хошь нет, но я до неё вообще ни с одной женщиной не был, никогда, ни разу, даже… не знал, с какого конца начинать!.. *(Усмехается.)* Ой, дурак был, ой, дурак!.. Но ничё, справился… и так хорошо справился, что забеременела она. А тут я узнаю, что меня уже в Россию хотят отправлять. Ну, чё делать? Беру Маргиту, и еду с ней в Будапешт. А там председателем СКК[[10]](#footnote-11)… ну, этой… Союзной Контрольной Комиссии по делам Венгрии… был Клим Ворошилов; и ещё там посольство наше было, а послом СССР был… Пушкин. Вот такая у него была фамилия... Ну и, поехали, значит, с ней – я думал, там или там мне уж как-то помогут. Ну, к Ворошилову меня и на порог не пустили, погнали; поехали мы тогда с ней в посольство. Там меня тоже пускать не хотели: женщина эта мне говорит – посол по таким делам не принимает, туда-сюда… А мне куда деваться? Ну, я и не ухожу, стою, стал с ней уже… ну, громко так разговаривать… И тут мужчина выходит – высокого роста, лысый: «Что за крупный разговор такой?» Я говорю: «Так и так, она меня к послу не пускает…» – «Заходите». Ну, зашли. Всё ему объяснил, что… так мол, и так, девушка беременная, хочу жениться и увезти её с собой в СССР, как мне это сделать? Он говорит: «Она понимает по-русски?» Я говорю: «Нет, ни слова не понимает…» А он тогда: «Мой вам совет – бросить её, и забыть раз и навсегда, иначе вы не плохо кончите, а очень плохо». А я ж и не знал даже, что у нас связь с иностранкой – преступлением считалась… я ж… и не думал даже!..

 Ну, вернулись мы к себе, в Н*а*дьмарош, я думаю – чё делать? Поговорил с Николаем, с переводчиком моим, он говорит: «Давай к отцу съездим, чё он посоветует…» А там же близко, через Зальцбург – и вот уже Италия. Ну, оставил я там за себя, и мы поехали… Я поехал, как положено – при пистолете, при наградах, с документами, ни от кого не прятался. Ну, приезжаем, я рассказываю – так мол, и так… а отец его мне говорит: «Серёж, тебе нельзя возвращаться обратно, тебя сразу же арестуют. Давай Николай съездит, привезёт твою Маргиту, а ты здесь останешься. Переждёте, а потом советские войска уйдут из Венгрии, вы и вернётесь. Или здесь оставайтесь, как хотите…» Я говорю: «Нет, ну как я могу? Я домой хочу вернуться, в Россию…» Так и не согласился. Думал, вернусь домой, а потом смогу как-нибудь Маргиту к себе вызвать, ну, чтобы она ко мне приехала… И вот, значит, приезжаем мы обратно, ребята мне говорят: «Там тебя двое ждут». Я захожу, они мне вынимают удостоверения – СМЕРШ. Ну и всё…

 Следователь меня допрашивал, майор… пьяный!.. Ходит вокруг стола, курит, пепельница у него хрустальная в руках; вот он ходит, курит… «Ну так что, будем признаваться, или нет?» Я говорю: «Я всё рассказал, мне признаваться не в чем». Он заходит сзади, и как шибанёт меня этой пепельницей по голове!.. Вот, до сих пор шрам остался… Очнулся уже в камере. А потом опять, допрос по новой… Он меня так допрашивал, что… вот встреть я его сейчас, я бы его убил, курву, сделал с него котлеты, нажарил, и съел!.. Там… да там любой что хошь подпишет!.. Ну и, в общем, подписал я ему всё… Ну, потом – военный трибунал… мне просили высшую меру наказания, но только десять лет дали – за измену Родине; статья пятьдесят восемь, пункт один «бэ»… Считай, повезло. Вот мы сидели внизу, в подвале, слева – а справа было одиннадцать смертных камер. И все – битком. Там отец с сыном сидели, им высшую меру наказания дали, а потом заменили – на двадцать пять, пять и пять; двадцать пять лет сидеть, пять – ссылка, и пять – поражение в правах. И вот их из смертной камеры к нам перевели. Вот они рассказывали, какой там порядок был… Заходят втроём, командуют: «Встать, руки назад, мордой в стену!» – и пальцем в затылок: «Фамилия! Фамилия! Фамилия!» И, вот, кого брать надо, за шею хватают, придавят, он «а!..» вот так вот рот открывает, а у них груша резиновая, вот такой величины, и они эту грушу ему в рот. Говорят – ни один не успел крикнуть человек, ни один… И сейчас его в двадцать первый кабинет, и там его хлоп!.. Он проваливается, и там его сжигают… Там столько народу угробили, что ты!..

 Ну, и вот, значит, погрузили нас в эшелон, и повезли в СССР. А там на последнем вагоне «кошки» были сзади вот такие, ну как… когти стальные – если ты пол прорежешь как-то, спрыгнешь и между рельсами там заляжешь, тебя эти когти всё равно порвут. Ну и на крышах пулемёты – там никак не убежишь… А пленных наших там сколько было, у-у!.. Сталин же издал приказ, что у нас не может быть военнопленных, что у нас все, кто в плен попал – изменники Родины. И вот им всем, кто в немецких лагерях был, срока понавесили – и в наши лагеря, прямой наводкой… Ну вот, значит, до Кемерова эшелон дошёл, там нас выгрузили, и отправили в тайгу, в Горную Шорию, на лесоповал. И вот мы там лес рубили – стойки шахтные; там же уголь добывали, в Кузбассе, и вот мы для них эти стойки рубили. Больше года я там просидел… А голодовали как, едрить твою мать!.. Чё только не ели… Там росла такая… вроде морковки, только белая, *(показывает)* вот такая толстая она, вот такой длины, ботва высокая у неё… Ну, жрать нечего было, и вот одно отделение разыскало эту морковку, порезали, съели – все померли. Ядовитая она оказалась. А другие знали, что они от морковки померли, и говорят: «Это они переели, мы сейчас понемножку поедим!..» И тоже все померли… И другие потом… знали, а, всё равно – едят!.. Мрут, а едят… Такая вот голодуха была… Ну и мы с ребятами… это уже май месяц был… мы с ребятами договорились, и бежать решили, впятером. Там забор был – брёвна пополам расколотые, и проволока колючая сверху. И вот мы ночью, в дождь, на забор этот бросились, а там вышка, и он из пулемёта как чесанул по нам!.. Прямо в морду мне щепки полетели… Троих сразу убили – Юрка только на ту сторону перелез, и я. Две недели шли. Там такие болота страшные, мама р*о*дная!.. Ну, поймали нас, конечно… судили, по пятёрке набросили за побег, и в Магадан отправили… Это нам ещё повезло, что нас, когда мы спали, живыми взяли – там же приказ был стрелять всех беглых. Потом только кисти рук отрубали, и по отпечаткам пальцев проверяли, ну, для отчёта; руки надо было привезти, а самого – не обязательно…

 И вот, значит, в Магадан меня… Перед этапом, как обычно, спрашивают: «Колющие, режущие, пилящие предметы есть?» Я говорю: «Нет», – а у меня и не было ничего; он меня обыскал, я чистый. А рядом со мной дед был, у него за лацкан пиджака иголка была воткнута, и нитка восьмёркой на неё намотана – ну, там, пуговицу пришить, или ещё чего… Он её нашёл, и ему как дал сапогом, с размаха *(показывает: под рёбра)* прямо вот в это место – тот аж отлетел, и лежит без сознания… Я не сдержался, говорю: «Эх ты, фашист, он тебе в отцы годится, а ты его убил почти!..» Он и мне – сапожищем… Схватил меня за шиворот: «В вагонзак его!» – и я всю дорогу, до самой Совгавани в вагонзаке ехал. Ну, то есть, в карцере… Ну и, значит, привезли нас к морю, в Ванинский порт; там уже – в общий строй… и стали нас грузить на пароход – «Дж*у*рма» он назывался… и дали каждому по рыбине солёной. А жрать охота!.. И вот я только перо оторвал, а там мужик рядом один… бывалый, видать… он мне и говорит: «Слышь, пацан, рыбу не жри». Я говорю: «Да я жрать хочу, я немножко…» – а он: «Посмотришь, чё через час тут будет. Не жри, тебе говорю!..» А я смотрю, он сам-то тоже – сидит, не жрёт. Ну, думаю, обожду – погляжу, чё будет. Часа полтора прошло, как заревели трюмы: «Воды, воды давай!..» Рыба, она ж солёная страшно… И они сверху давай лить воду морскую на нас – лили и на головы, и на параши, на всё!.. В общем, пока приехали в Магадан, четыреста трупов за борт выбросили…

 А уж в Магадане, на пересылке… там вообще страшное дело. Каждое утро смотришь – а во дворе куча мертвецов уже лежит. Их прямо у берега в снег закапывали – ни креста, ни номера дела… а весной река разливается, и эти все трупы в море уносит, на съедение рыбам… Полтора месяца я в пересыльном лагере пробыл… В столовую заходишь – дают сто грамм тебе выпить. Только не спирта, а отвара этой… хвои. Потом – талон алюминиевый. Если ты этой хвои не выпьешь, еды не получишь. А она противная такая, курва!.. Как вспомню, аж… *(Его передёргивает.)* От цинги, придумали. А она всё одно была, цинга эта… Ну вот, с талоном с этим идёшь, там повара стоят, за решёткой. Дают хлеб – в карман суешь, дальше идёшь. Вот такую миску тебе алюминиевую, с баландой – выпил, миску в корзину бросил, дальше идёшь, не останавливаешься. Потом миску с кашей, в ней щепка, ты эту кашу щепкой на ходу в рот, миску бросил – и идёшь, всё время идёшь, не останавливаешься. А по-другому как? Там ведь, на пересылке, было что-то… ну, тыщ тридцать пять народу… Я там долго пробыл, полтора месяца – это ж дело от статьи зависело. «Покупатели» приезжали – пятьдесят девятую, это групповой бандитизм, не брали; потом, убийство, сто тридцать шестую, не брали; и вот мою, пятьдесят восьмую, измена Родине, тоже – не брал никто. А потом один приезжает, с *А*тки, это посёлок такой, и там Аткинская автобаза, самая большая в Союзе – а я ж слесарем работал до войны, в лётных мастерских… вот он меня и взял. Приезжаем, туда-сюда… нам говорят: «Жрать хотите?» – «А как же!..» – «Берите – вон там хлеб, вот там коленвалы лежат, жир с них снимите, намажьте и ешьте». Я смотрю, а коленвалы эти залиты вот таким вот слоем свиного жира!.. Запчасти ж там все американские, и вот они их этим жиром, под прессом отжатым, заливали… Да там вообще всё было американское – грузовики эти огромные, «Даймонды», сорокапятитонные, которые по Колымской трассе ходили; запчасти, станки все, оборудование, электростанция вся… даже соль – и та была американская.

 В том лагере кормили получше, конечно… Там, помню, ручная медвед*и*ца была, она в телеге продукты возила, ну и там… чего нужно… Ходила свободно по всему лагерю – совсем ручная была медведица. Как обед, там рельса висела большая, и вот молотком по рельсе бьют, а она как услышит – бросает телегу, и идёт обедать, вот где бы она ни была: хоть на дороге, хоть где… А потом её начальник лагеря застрелил – она девчонку его напугала, вот он её и застрелил. Шкуру с неё содрали, сварили… но, никто есть не стал. Как можно? Она ж ручная была…

 Да, мест*а* там, конечно… весь срок свой я там и отсидел. А зато вот в пятьдесят третьем, когда Сталин помер, то-то праздничек был!.. Прямо, второй День Победы… Мы ж и не знали ничё, нас с зоны на работу вывели, а там с нами и спецпоселенцы, и по д*о*говору кто, работали… Они у себя в посёлке узнали, и тут же нам сказали – так мол, и так, Усатому кирдык пришёл. Помню, все аж норму перевыполнили, на радостях!.. Ходим, чуть не пляшем – а вохра злобится, а сделать ничё не может, мы ж не нарушаем… Я до такого и дожить не надеялся. Эта ж курва усатая, сколько ж он народу погубил, это ж… не сосчитать!.. И в войну, и после... а уж до войны!.. И говорить нечего. Вся Колыма костями выстлана… *(Усмехается.)* Вот, что живой остался – и сам не верю… Как так?.. *(Пожимает плечами.)* Не понимаю. Чистое везение…

9. РАЯ

 Жена военного моряка, 26 лет, одета в довоенное, изначально белое полотняное платье, отделанное синим кантом, которое ей великовато; на ногах – изношенные полуботинки; ставит на стол стеклянный кувшин с водой.

Р а я. Мой муж, он тогда лежал в госпитале. Он служил на линкоре «Марат», они что-то там перевозили на грузовике, перевернулись, и у него был очень тяжёлый перелом бедра, с осложнениями… И вот как раз в воскресенье с утра я поехала к нему в госпиталь, навестить. И еду я в трамвае, уже подъезжаю к вокзалу, и вижу – стоит толпа народу на остановке, но в вагон никто не садится, ни один человек не вошёл, а все стоят и слушают этот… громкоговоритель. Ну, сообщение какое-то… А следующая остановка была уже Балтийский вокзал, я вышла, прохожу на платформу, и вижу, что люди все в волнении в каком-то, что-то обсуждают… И я спросила там одного: «А что такое, что случилось?» А он мне: «Что случилось, что случилось… Война случилась!» Оказывается, по радио было сообщение, что началась война… А день был такой жаркий, воскресенье, единственный выходной, и многие семьями ехали в Петергоф на фонтаны, и, вообще, за город… и вот все стоят, и не знают, что делать. Одни говорят: «Поехали – раз уж собрались, поедем…» А другие: «Нет, надо вернуться, как же мы поедем на фонтаны, когда война началась?» Ну и, в общем, кто как хотел, тот так и сделал… А я поехала в госпиталь, в Ораниенбаум, и там уже, прямо у мужа в палате, сама первый раз услышала сообщение Молотова. Это было уже три часа дня… И сразу всех, кого только можно, стали выписывать – а мужа моего выписать было нельзя, он остался. И вот через неделю я приезжаю, а его там уже нет – оказывается, его перевели в эвакогоспиталь. А где он, никто не знает… Так я ни с чем и вернулась. А мы тогда жили в военном городке, в посёлке Большая Ижора, это прямо напротив Кронштадта, на берегу. И нам сказали, что все семьи подлежат эвакуации – ну, это же военный объект… И я забрала дочку, ей тогда ещё года не было, и поехала к маме – а мама моя жила в Ленинграде, на окраине, в Озерках. От мужа долго никаких известий не было, и только где-то месяца через полтора я получила от него письмо – что он находится в госпитале, в Череповце…

 Первое время всё спокойно было – ни налётов, хотя все боялись… ни карточек. А карточки ввели где-то с августа – отдельно на хлеб, и отдельно на другие продукты. Они были разделены на декады, и по радио объявляли, сколько граммов чего будут выдавать в какую декаду. Сначала ещё терпимо было, а потом всё хуже и хуже… Но, было как-то спокойно пока – где-то там воевали, мы слушали радио, газеты читали, оттуда всё узнавали… А в конце августа приехал мой муж – его выписали из госпиталя, и он как-то сумел упросить начальство, чтобы его назад, в Ленинград отправили. Приехал – на двух костылях… Пошёл в Балтийский экипаж, ему дали месяц отпуска, и мы поселились с ним, временно, в комнате его сестры, на Васильевском острове. Она сама была тогда на окопах, под Лугой – там делали оборонительные рубежи, и вот всех молодых, у кого детей не было, всех-всех посылали туда рыть окопы. Немцы как раз прорывались там, под Лугой, но их смогли остановить и удержать там, на какое-то время… А тогда уже бомбёжки начались – и вот, десятого сентября, вечер уже был, закончилась тревога очередная, мы вышли на улицу… и смотрим – какая-то тёмная туча поднимается над городом. Всё выше, выше, и какая-то красная она уже… и все говорят: «Ой, гроза сейчас какая будет страшная…» А потом уже поняли, что это не гроза, это пожар. Ну, постояли и разошлись – горит там чего-то, и горит… А на другой день мы узнали, что разбомбили Бадаевские склады, продовольственные, и что это они так горели. И тогда же немцы вышли к Ладоге, у Шлиссельбурга. И кольцо замкнулось… началась блокада…

 Причём, нам же ведь тогда никто ничего не сообщал. Немцы заняли Лигово – это такой дачный посёлок, от Балтийского вокзала первая станция, там, ну… минут десять на поезде. Там моя тётя жила – а работала она в Ленинграде, в Госбанке, на Фонтанке. И вот утром она, как обычно, поехала на работу, никаких сообщений не было… а вечером, после работы, она приехала на Балтийский вокзал – и узнала, что поезда больше не ходят, потому что там уже немцы наступают. Но, Лигово, оно же так близко, что туда ещё трамваи ходили – и вот она как-то, сначала на трамвае, а потом пешком, вернулась домой, чтобы хотя бы какие-то вещи взять. Она ведь осталась – в чём была, в чём на работу поехала… А там всё в порядке, всё как и было, её соседи по коммуналке даже и не знали ничего – она им сказала, что поезда уже не ходят, и что немцы рядом… Собрала самое нужное, что смогла унести – и назад, в город. И только на следующий день объявили, что Лигово заняли немцы. То есть, они дошли уже почти до Кировского завода, там буквально четыре километра оставалось…

 Скоро уже электричества не стало, трамваи не ходили, водопровод не работал, канализация – ничего… В деревне, там хотя бы всё приспособлено – а в городе же нет… в многоквартирном доме, да ещё зимой… Начались воздушные тревоги бесконечные – и днём, и ночью… а немцы, они такие аккуратные: вот вечером, без пяти девять, можно было уже одеваться и спускаться вниз. А ровно в девять – воздушная тревога… У нас не было никакого бомбоубежища, даже вблизи, и вот на первом этаже, в коридоре, поставили стулья, скамейки, и туда все спускались, и там сидели – пережидали воздушную тревогу… Я тогда уже опять переехала к маме, и вот она сидела с дочкой, а меня взяли в группу самозащиты. Их организовали в каждом доме, и все, кто был ещё жив и здоров, все там были, что-то делали… Первым делом нужно было защитить дом от пожара – немцы же зажигательные бомбы сбрасывали, и вот мы весь чердак зас*ы*пали песком, десять сантиметров толщиной. Его надо было поднять туда, и весь пол на чердаке им засыпать… А всё деревянное, все балки нужно было покрасить асбестом – это как краска такая, белая, густая… но она огнеупорная, и предохраняла от огня. И вот этим мы занимались – одни женщины, конечно… у нас во всём доме тогда мужчин всего двое осталось: один дедушка старенький, и Агеев, без ноги.

 И мой муж тоже с нами уже не жил, он тогда стал работать на складе боеприпасов – они снаряжали боезапас взрывателями, и грузили их на спецпоезд, он стоял на станции Пискарёвка… ну, то есть, его формировали там. И потом на нём отвозили боеприпасы прямо на линию фронта. В товарных вагонах они работали, а в пассажирских – жили… И я к нему туда ходила иногда – километров пять… А потом они в порту работали – ну, то же самое… И тогда уже начался голод, и вот однажды он мне приносит такой небольшой мешочек… пыли какой-то. Оказывается, он во время воздушной тревоги в бомбоубежище не пошёл, а заскочил на ближайший склад. А там штабелями были сложены старые мешки из-под муки. Ну, он и решил посмотреть, что там в этих мешках осталось: расстелил мешок, стал другой над ним трясти, и что-то там, какие-то крохи этой муки из него выпали. И так он весь склад этих мешков перетряс, и набрал мешочек муки пополам с пылью. И это была радость такая, я тут же из неё кашу сварила... А другой раз приходит, и приносит что-то, в пакетике… чёрная масса какая-то. Оказывается, у них там огромные овощехранилища рядом были, пустые все, и только в одном они нашли… вот это вот. Ну, и они давай пробовать – нельзя ли это есть… ну и определили, что – вроде как, можно. Предыдущая зима ведь тоже очень морозная была, и они сообразили, что там, видимо, картошка хранилась, и она вся перемёрзла… но весной очистить не успели, а потом вообще война началась, её так и бросили, и вот она за лето вся сгнила, засохла, а потом опять вся, уже сгнившая, перемёрзла… и получилась такая крахмальная чёрная масса. И вот мы бумагу на столе расстелили, это всё выложили на неё, выбрали оттуда камушки, кусочки земли, весь мусор, какой попался, потом я скалкой раскатала, в мисочку положила и горячей водой залила. Муж говорит: «Да не бойся ты, у нас все это едят!..» И, действительно, вкус получился такой… не противный, чуть-чуть с кислинкой… вполне можно было есть – крахмал, всё-таки… Ну а что, они, хотя и военные… им ведь тоже – только триста граммов хлеба давали, пустой суп, непонятно из чего… и каши немножко. А они ведь молодые, здоровые мужчины – голодали, конечно… им же больше надо… А про нас и говорить нечего – нам норму хлеба всё время убавляли, убавляли… и кончилось тем, что стали выдавать сто двадцать пять грамм хлеба на человека. И всё… Да к тому же, кроме всех бед, ещё и морозы были очень сильные – до тридцати, и даже больше. Топить было нечем – хотя, у мамы были заготовлены дрова, и мы на них долго продержались… но, пришлось их перенести в комнату, чтобы не растащили. У мамы были знакомые в железнодорожных мастерских, и ей там сделали печку-буржуйку… мы её кирпичами обкладывали, они нагревались и дольше тепло держали… Ну и вот, хлеб дадут, но его же надо разделить на весь день, его нельзя сразу съесть, и вот я кусочек немного поджарю на буржуйке, положу в стакан, и кипятком залью. Выпью, потом опять залью… два-три раза зальёшь, и там уже ничего не остаётся от хлеба… ни вкуса, ни запаха… просто вода горячая. А в хлеб этот чего только не добавляли – и жмыхи, и целлюлозу, и… не знаю, что!.. Там муки было – ну, треть, может быть… Его пекли в таких больших формах, по два килограмма… он сырой такой был!.. В булочной у продавщицы около весов стояла кастрюля с водой, и перед тем, как хлеб отрезать, она этот нож окунала в воду, и потом отрезала – а иначе этот хлеб прилипает к ножу, и никак его не отрезать. А очереди какие были!.. Я вставала около шести, и шла в булочную – а там уже был народ. И ждали, ждали… а другой раз привезут поздно, и вот полдня там стоишь… А столько стоять не отходя невозможно же, и вот, чтобы сохранить порядок, писали номер – или мелом на спине, или на руке химическим карандашом. И можно было отойти, вернуться, найти свой номер, и продолжать стоять дальше… А зимой даже было несколько дней, когда вообще не было хлеба в булочных. Зима, мороз, ты стоишь, стоишь целый день – а хлеба не привезли. И говорят: «Не стойте, хлеба не будет, на хлебозаводе нет муки!» А всё равно – стоишь… и в шесть часов вечера закрывают магазин, и идёшь домой, без ничего…

 И с водой мучились, конечно… Мы сначала с вёдрами в парк ходили – там были проточные пруды, с хорошей водой, и всё было ничего, пока морозов не было… а потом сделали прорубь, ну и – один наберёт, прольёт, другой наберёт, прольёт… и, в результате, там намёрзла целая гора, и к этой проруби и не подойдёшь никак… но, набирали как-то, ухитрялись, как же без воды-то... А потом недалеко от нас, около Светлановской площади, бомба упала, очень большая – там такая огромная воронка была, и она вся заполнилась водой… там, видимо, или труба проходила какая-то, или подземный источник… и эта вода там не убывала, и мы стали туда за водой ходить. Поставишь ведро на саночки, и везёшь…

 Тогда уже настоящий голод начался, и очень много людей стало умирать – кто где… кто дома, а кто прямо на улице падал… А морозы сильные были, человек если упадёт, а сил подняться уже нет, он и замерзает насмерть. И вот мы, из группы самозащиты, ходили вечером по улице вокруг нашего дома и смотрели – если кто-то упал, мы его поднимали и приводили к нам, у нас там такая… конторка была, бывшая дворницкая, мы там дежурили. Там иногда немножко печку топили, и вот мы туда их всех приводили. По-разному было: кто-то так и умирал, прямо у нас в конторке – а кто-то утром сам, своими ногами уходил…

 Я слышала, что продавали хлеб – где-то, кто-то… я не уточняла, потому что я знала, что я не смогу его купить по такой цене… за сто грамм – пятьсот рублей… Не было у нас денег, чтобы хлеб покупать. И продать было нечего… А один раз я прихожу в контору, а там много народу собралось, и шум какой-то… Я спрашиваю: «Что случилось?» – а мне говорят: «Да вот, Агеев карточки потерял – или украли их у него…» А он сидит на подоконнике, молчит, спокойный такой… я к нему подхожу, спрашиваю: «Что же ты теперь будешь делать?» – а он отвечает: «Как что? Умру…» И дня через два мне сказали, что Агеев умер – сам, отравился… не захотел от голода умирать… Вот так вот. Всякое было… Даже до людоедства доходили. Я слышала про такие случаи – а сама, своими глазами… только один раз видела. Я зимой однажды пошла к мужу, на Пискарёвку, когда он на спецпоезде работал, а там лесок такой, я по тропинке шла… а идти долго, и вот мне приспичило в кустики заскочить. А сугробы-то огромные намело, не пройдёшь, а тут вижу – следы, и я прямо по этим следам захожу за кусты… и вижу – лежит труп, лицом вниз, на нём одёжка вся разрезана, он лежит, весь искромсанный, и кругом следы… И я как шарахнулась оттуда, как побежала!.. Ох…

 Так вот мы зиму и прожили – не знай, как… А весной надо было всё чистить. Канализация же не работала, и люди просто выходили, и прямо во дворе, в ближайший сугроб эти свои ведёрки выливали. И за зиму там набрались целые залежи – снег ведь вообще никто не чистил, не убирал… между сугробами протоптали какие-то тропинки, и по ним ходили… И весной, ещё до того, как снег начал таять, вышел приказ, что нужно это всё убрать – потому что боялись, что эпидемия может начаться. А как это всё убирать? Инвентаря же никакого не было – никто же не думал, что так вот понадобится… И вот брали всякие детские ванночки, корыта, у кого были… или просто лист фанеры, верёвку к нему привязывали… А там всё в камень смёрзлось – и вот ломом били, потом эту ванночку нагружали, и волокли… Там, неподалёку от нашего дома, до войны садоводство было – не дачи, а государственное, там цветы выращивали. И вот мы туда это всё носили, пока полностью не очистили… Причём, что удивительно – что в городе тогда вообще не было крыс. Хотя, казалось бы… а их не было. Шутили, что все крысы к немцам ушли – потому что у них еда есть…

 А потом вышел приказ, что нужно расчистить трамвайные пути – трамваи же с осени не ходили, и вот их решили пустить. А трамвайные рельсы, они так… углублены немного, и там везде лёд. И вот надо было сначала снег сверху счистить, а потом этот лёд весь сколоть – потому что иначе колесо не поедет. Выдали нам ломы… а лом, он тяжёлый такой!.. А у нас и сил ни у кого не было – ломом бить… Его так поднимешь, отпустишь, и он своей тяжестью сам какой-то осколок выбивает… Так вот и расчищали. И, всё-таки, по-моему, пятнадцатого апреля… пустили первые трамваи. Их очень мало, конечно, ходило – но, всё-таки, ходили…

 Ну а потом, после уборки, вышел приказ открывать закрытые квартиры. Таких много было – кто-то эвакуировался, а другие умерли… И вот мы втроём, с управхозом – я, и ещё одна женщина из группы самозащиты, Бэла – ходили, проверяли квартиры. В первую же заходим, на первом этаже – и там лежит на кровати женщина, мёртвая, и рядом ребёнок в коляске, тоже мёртвый. А коляска такая красивая, большая, плетёная – мы их до войны «немецкими» называли… И вот в этой коляске мы их и повезли. Сначала в морг при больнице возили… а потом приезжаем – а он закрыт, и объявление висит: морг переполнен. А потом там, в сарае, недалеко от нас, оборудовали морг, и туда всех свозили. И из соседнего дома тоже… И очень скоро его весь заполнили, и стали складывать уже у стенки, прямо во дворе. Подойти невозможно было – это ведь обычный сарай, там никаких условий, ничего, а уже тепло, и запах… ну, это ужас что… Нет, их вывозили, конечно – приезжали машины, большие, пятитонные… «Студебеккеры», и отвозили их… только уже не на кладбище – тогда все трупы стали сжигать… ну, то есть, кремировать… в печах, на кирпичном заводе. А другие машины вообще не ходили, и вот, если идёшь по улице, и слышишь, что машина едет – значит, трупы везут… В нашем подъезде, например, весь четвёртый этаж вымер – мы на третьем жили, а над нами, на четвёртом, умерли все, никого не осталось… А мы так и возили в этой коляске – она вместительная была, туда даже взрослого человека уложить можно было… Не знаю, как я это всё выдержала. Вот так целый день берёшь, кладёшь, возишь… а потом прихожу домой, снимаю брезентовые рукавицы, мою руки – и сажусь за стол, поесть чего-то… или дочку беру на руки… как будто ничего такого… Отупение какое-то было. Видимо, какая-то защита срабатывала – а иначе бы психика просто не выдержала…

 А прямо напротив нашего дома, только улицу перейти, был вход в парк лесотехнической академии. Он очень красивый, этот парк, его очень берегли, там даже в блокаду дрова не пилили… И вот весной, когда только растаял снег, я иду мимо и вижу… какие-то люди там сидят, и прямо под кустами что-то копают ножичками… Присмотрелась – а это они там корни выкапывают, на еду… А когда трава появились, мы уже все стали траву собирать. Одуванчики, пока они не цвели ещё – мы их варили, с корнями вместе. Я целый тазик их соберу, потом надо вымыть их хорошенько, перебрать, сварить, воду слить обязательно – она горькая-горькая!.. и так вот раза два их прокипятить, слить воду… ну и, можно есть. Одуванчики, они же очень полезные, как я потом узнала – в них витаминов много; и даже, говорят, во Франции специально добавляют в зелёный салат немного листьев одуванчика – он горчит, и придаёт такой особый вкус… и полезный он очень… А в самом городе – во всех скверах, под деревьями, где был газон… вообще, везде – люди посадили огороды. И знаете, никто не трогал. Я сама тоже, нашла семена свёклы, вскопала, и посадила прямо возле дома – а муж потом её всю собрал, уже после моего отъезда, и варил её, и свёклу, и ботву, всё вместе… борщ такой делал.

 А осенью я с дочкой уехала. Ещё весной, когда объявили массовую эвакуацию, я думала уезжать – из-за дочки. Когда война началась, она уже ходила… а потом перестала. И у неё все волосики вылезли, и как пух такой стоял… Я пошла к врачу, у нас там рядом была поликлиника детская… и она мне говорит: «Ну, что я могу сказать… Вы же сами всё прекрасно понимаете. Ей еда нужна – еда, а не лекарства. Лекарства тут бесполезны…» А у нас родственница сразу после начала войны успела эвакуироваться в Кировскую область… и вот они там уже год прожили, в деревне. И я к ней решила ехать. А муж стал меня отговаривать: «Ну зачем ты поедешь, всё бросишь, а там неизвестно, что… А теперь лучше стало, хлеба на пятьдесят грамм прибавили…» А хлеба-то прибавили не потому, что лучше снабжать стали, а потому что умерло много, и вот за их счёт… нам прибавили. И осенью я решила что всё, надо уезжать. И мы эвакуировались, по Дороге Жизни… От Финляндского вокзала ехали на поезде, до Борисовой Гривы, оттуда на машине… и уже на самой Ладоге несколько дней ждали, когда нас посадят. На Ладоге был шторм… там вообще очень часто штормит… и вот два эшелона собрались на берегу, и ждали отправки. Целый цыганский табор огромный… Двое суток мы там сидели под открытым небом. А потом шторм стих, и нас стали отправлять. Рано утром нас посадили на катер… маленький такой катер, открытый – нас было трое или четверо взрослых… и трое детей. На дно положили вещи, сверху сами сели, и катер пошёл… И вот буквально полчаса проходит – опять шторм поднялся, и дождь полил… И ребята… там же ещё команда была, трое человек… они накрыли нас брезентом сверху – и так вот мы и шли… Темно, качает… поднимает-поднимает – и резко опускает… думаешь: всё, на дно сразу… А они ещё подбадривают: «Не бойтесь, может быть, обойдётся…» Может быть!.. А может быть, и нет… И вот так мы плыли-плыли, и приплыли наконец на тот берег – и не можем пристать, из-за шторма. А берег вот он, рядом, я говорю: «Что же мы не пристаём-то?» – а парнишка мне отвечает: «Нельзя, нас может о пирс разбить». Часа полтора мы там так болтались, у берега. Но, в конце концов, всё-таки, пристали… И вот как только мы высадились на том берегу, меня поразило… я там увидела огромные штабеля, покрытые брезентом – всякие ящики, мешки с мукой, целые горы продовольствия… для отправки в Ленинград. Там такие были запасы!.. Я их как увидела, думаю: «Господи, если бы это всё сейчас было в городе… сколько бы народу выжило…» А переправлять ведь тоже было очень сложно – везли маленькими партиями… и Ладогу бомбили постоянно… Ну вот, а потом нас опять на машинах повезли до железнодорожной станции Лавр*о*во. Там нас посадили в поезд, и на нём мы поехали уже до самого Кирова… А вагон был товарный, мы в него первыми сели, и радовались, что заняли место у стеночки, в конце вагона. А как все в него набились, так душно стало!.. Я даже сознание потеряла… И ехали мы очень долго, с остановками – на станциях, в тупиках каких-то стояли…

 И вот год и десять месяцев мы прожили в Кировской области. Там с едой тоже было очень плохо – ну, только что, с голоду не умирали… Мы жили в райцентре, недалеко от нас был исполком, и там на стене вывешивали газету, и я туда каждый день ходила газету читать. И ещё у соседей радио было… И вот в конце января сорок четвёртого сообщили, что снята блокада Ленинграда… что город окончательно освобождён… Это было такое… такое!.. *(Вытирает глаза.)* И муж весной прислал мне вызов, из части, так ведь просто нельзя было ехать, ещё война шла… и уже в начале июня я вернулась в Ленинград. Мужа перевели на корабль – эсминец «Минск», он стоял на Неве, у Четырнадцатой линии… И мы тогда опять стали жить в комнате его сестры, на Васильевском… она умерла в блокаду, и мы поселились в её комнате. И ещё целый год почти шла война… Но уже дело было ясное, передавали хронику оттуда, из Германии… и мы ждали, ждали… и восьмого мая ждали, что вот сейчас объявят… но так и не дождались, и спать легли… И вдруг слышим – заработал метроном, по радио… и мы думаем – что случилось?.. Мы тут же вскочили, включили свет… и тут по радио стали говорить: «Передаём важное сообщение…» И сказали, что подписан акт о капитуляции, и что война кончилась… И тут же все поснимали эти шторы, синие, светомаскировочные, вышли на улицу, и везде свет горел, надо-не-надо… и никто уже спать не ложился, и все ходили по улицам, радостные, обсуждали… А вечером был салют – все корабли, стоявшие на Неве, дали такой салют, что на набережной в домах аж стёкла повылетали!.. Там школа была, и на следующий день даже дети в школу не пошли, потому что стёкла вылетели, их надо было убрать, заменить… А я с собой дочку взяла, салют смотреть, и она уснула у меня на руках, и даже от этого грохота не проснулась… и я ей утром сказала: «Эх, ты, проспала Победу!..» А она потом обижалась на меня, что я её не разбудила…

 Мне вот говорят: «Зачем ты блокаду вспоминаешь? Зачем тебе это нужно? Зачем ты её вспоминаешь всё время?» А я не вспоминаю. Я – н е з а б ы в а ю…

10. ЛЕВИТАН

Выходят все герои пьесы.

Г о л о с Л е в и т а н а. Внимание, говорит Москва. Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Великая отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена!.. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины…

 Праздничный салют, радостные крики. Герои обнимаются, целуются, поздравляют друг друга и садятся за стол – начинают праздновать: разливают вино, нарезают хлеб и т.д.

11. АВТОР[[11]](#footnote-12)

Молодая женщина, одета в джинсы и майку; на ногах – сандалии.

А в т о р *(публике)*. Добрый вечер… Честно должна признаться, что меня никто сюда не приглашал – но, я подумала, что раз уж я автор пьесы, я могу пригласить себя сама. Верно? Тем более что кроме меня никто вам не расскажет, что было дальше с ними со всеми...

 Так вот… Ганна… *(Подходит к столу, встаёт за спиной у Г а н н ы, и кладёт руки ей на плечи.)* Когда мужчины вернулись с войны, она с радостью ушла из председателей в простые бухгалтеры. Вышла замуж, родила сына… Жизнь прожила трудную, тяжёлую – но ни на что не жаловалась. Она поразила меня своей мягкостью и несгибаемостью. Мягкостью, и несгибаемостью…

 Ваня… *(Встаёт за спиной у В а н и, и кладёт руки ему на плечи.)* Ванина мечта исполнилась – он стал офицером, и даже полковником, как его отец. Полковник это… четыре «шпалы», кажется, да?.. Впрочем, Ваня носил погоны – полковничьи погоны с тремя звёздами… Сразу после войны отец увёз Ваню с семьёй в Латвию, и там, в Риге, Ваня и прожил почти всю свою жизнь – преподавал в авиационном училище. А однажды, когда Латвия стала уже независимой, а Ваня был уже очень немолодым человеком, он увидел, как по главной улице Риги маршируют люди в нацистской форме. И тогда Ваня собрал семью, сложил вещи – и уехал в Россию. Его никто не выгонял – просто он не мог жить в стране, по улицам которой маршируют люди в нацистской форме…

 Юра… *(Встаёт за спиной у Ю р ы, и кладёт руки ему на плечи.)*  Поступил в медицинский институт, закончил его и тридцать пять лет проработал кардиологом в городской больнице. Выйдя на пенсию, увлёкся живописью, и начал писать картины – в основном, виды родной деревни. Двое сыновей, четверо внуков… Служба в артиллерии не прошла даром – сейчас он совсем плохо слышит, но… очень любит поговорить!

 Володя… *(Встаёт за спиной у В о л о д и, и кладёт руки ему на плечи.)* В сорок восьмом году двадцатисемилетнего инженер-капитана третьего ранга уволили в запас – на основании отсутствия у него полноценного военного образования. Воевать-то можно было, не окончив военно-морское училище – а вот служить… Он проглотил обиду, вернулся в родной город, пошёл работать на аккумуляторный завод и проработал там ровно полвека – почти по специальности: был начальником цеха морских аккумуляторов. А когда началась космическая эпопея, возглавил ещё и испытательный цех серебряно-цинковых батарей. Ездил по всем флотам, куда завод поставлял аккумуляторы, много раз бывал на Байконуре и космодроме Плесецк… Но на всю жизнь остался – подводником. Точнее, «подводником от Бога» – так мне его отрекомендовали при знакомстве офицеры младшего поколения…

 Таня...  *(Встаёт за спиной у Т а н и, и кладёт руки ей на плечи.)* Вы не поверите, но Таня, дочь театральной художницы и скульптора, стала… физиком! После университета её направили на работу в один полусекретный физический институт, и там она встретила молодого, симпатичного, и очень талантливого физика. Это был тот самый мальчик Митя, которого друг её родителей, Николай Фёдорович, однажды привёл к ним в дом во время блокады. Митя тоже выжил: сотрудников института, в котором работал его отец, эвакуировали вместе с семьями – зимой, на грузовиках, по льду, через Ладогу… Их эвакуировали в Кисловодск, который вскоре был захвачен немцами, и Митя с семьёй полгода провёл в оккупации. Когда война кончилась, они вернулись в Ленинград, Митя стал физиком, как его отец, встретил Таню… и после того, как они обнаружили в домах друг у друга одну и ту же фотографию морского офицера, висящую в рамочке на стене, им не оставалось ничего другого, как пожениться. Они так и говорят: «Николай Фёдорович нас сосватал…»

 Вася… *(Встаёт за спиной у В а с и, и кладёт руки ему на плечи.)*  Демобилизовался, вернулся в родную деревню, тут же отхватил себе самую красивую девушку во всём районе… женился, уехал с ней в город, поступил на завод и проработал на нём больше сорока лет. Начал – учеником токаря, закончил – заместителем начальника цеха. Двое детей, четверо внуков, шестьдесят лет как женат на своей Ниночке… От меня потребовал одного: «Вот ты писательница – ты запиши мои слова: «Наши командиры… спасибо им. Они всё правильно делали. Я им всю свою жизнь благодарен!.. А сейчас пишут про них, не знай чего… сволочь всякая!» – вот так вот и запиши». Ну, я записала, вам передаю – как велено было…

 Серёга… *(Встаёт за спиной у С е р ё г и, и кладёт руки ему на плечи.)*  После лагеря Серёга вернулся в родной город, и всю жизнь проработал токарем на автобазе. Перестроил отцовский дом, развёл огород, парники; женился – но всю жизнь вспоминал свою Маргиту… А когда упал «железный занавес», Серёга… то есть, Сергей Павлович, он тогда уже был на пенсии – решил попытать счастья, и найти её через Красный Крест. Написал письмо… и где-то через год в его доме раздался звонок. Ему звонила Мария, его венгерская дочь. Оказывается, у Маргиты в сорок шестом году родилась девочка… Она никогда не пыталась найти его – ей сказали, что Серёгу расстреляли сразу же после ареста, прямо там, в Венгрии… Можете себе представить, что это был за телефонный разговор. Он поехал к ним в Будапешт, увиделся со всеми; а потом они приехали к нему в гости… Так у него образовалось целое венгерское семейство. Одна его внучка стала чемпионкой мира по водному поло, а другая недавно вышла замуж за француза, и отец этого француза – настоящий граф; и Серёгу… ну, то есть, Сергея Павловича, пригласили на свадьбу в Будапешт, он поехал, был там почётным гостем, отгулял всю свадьбу, как положено, чин-чинарём… Я понимаю, что вся эта история кажется очень мелодраматичной… и выдуманной. Но я ничего не выдумывала – я просто пересказала вам его жизнь. *(Усмехается.)* Он смешной такой!.. Я как-то ему говорю: «Вот вас ни за что посадили…» – а он возмутился страшно, и говорит: «Как это – ни за что?! Я за любовь пострадал!..» *(Смеётся.)* Да… смех смехом, но, знаете… На самой первой встрече в Будапеште присутствовал представитель венгерского Красного Креста, и вот он сказал, что после войны в Венгрии родились тысячи детей – таких, как Мария. Но за всё время только один человек захотел разыскать своего ребёнка… Захотел – и нашёл.

 Рая… *(Встаёт за спиной у Р а и, и кладёт руки ей на плечи.)* На момент моего знакомства с Раей… ну, то есть, с Раисой Кузьминичной… ей было девяносто лет. Она меня просто поразила – такая худенькая, бодрая, неунывающая старушка… Вы не представляете, какое это потрясающее ощущение – сидеть и разговаривать в кафе с человеком… тысяча девятьсот девятнадцатого года рождения. Сидеть и разговаривать… ну, как со своей обычной знакомой. Это просто потрясающе!.. Сейчас она живёт в деревне под Питером, одна, раз в месяц приезжает в город за пенсией и повидаться с роднёй… У неё всё, в общем-то, хорошо. Единственное, что её по-настоящему беспокоит и расстраивает – то, что, по её мнению, это всё сейчас никому не нужно, не важно, не интересно… никто ничего не хочет знать ни про войну, ни про блокаду… Вы не правы, Раиса Кузьминична, вы очень не правы. Посмотрите, сколько людей пришло сегодня вас послушать. Видите? Для них это очень важно…

 Ну и наконец, Тоня...  *(Садится за стол и набрасывает на плечи голубую крепдешиновую косынку.)* Вы ещё не знаете, но Тоня здесь – самая главная. Без неё ничего бы не было. Потому что после войны она родила мальчика – очень умного и хорошего мальчика. Мальчик вырос, встретил красивую девушку, женился на ней, и через год после свадьбы – или, через тридцать лет после Дня Победы – у них родилась я. Вот такая вот история… Или – И с т о р и я, как хотите…

*Апрель 2009 – март 2010 г.*

1. Возраст каждого из героев пьесы – тот, в котором он встретил 9 мая 1945 года. Каждый монолог написан на основе реального рассказа конкретного человека. Как следствие, в пьесе имеются мелкие несоответствия данным исторической науки (хронологические смещения, количественные неточности и т.п.). Автор прекрасно осведомлён о каждом подобном случае; однако, предпочитает правду живой памяти – научной точности. [↑](#footnote-ref-2)
2. Глячок – небольшой глиняный кувшин. [↑](#footnote-ref-3)
3. Сейчас Балтийск. [↑](#footnote-ref-4)
4. Псалом 90. [↑](#footnote-ref-5)
5. Произносить следует: «Бэ Чэ два три». [↑](#footnote-ref-6)
6. Произносить следует: «Эл шестнадцать». [↑](#footnote-ref-7)
7. Произносить следует: «Эс пятьдесят первая». [↑](#footnote-ref-8)
8. Сейчас Северодвинск. [↑](#footnote-ref-9)
9. Паюл – палубный настил. [↑](#footnote-ref-10)
10. Произносить следует: «Эс Кэ Ка». [↑](#footnote-ref-11)
11. А в т о р а и Т о н ю играет одна и та же актриса. [↑](#footnote-ref-12)